

ханс фрайер



# РЕВОЛЮЦИЯ СПРАВА



ИДЕОЛОГИИ



Hans Freyer

# REVOLUTION VON RECHTS

Jena: Eugen Diederichs, 1931.

ханс фрайер

# РЕВОЛЮЦИЯ СПРАВА

Перевод с немецкого Ю. Ю. Коринца  
под редакцией Б. М. Скуратова

Москва  
Праксис. 2009



ББК 87.3  
Ф82

**Фрайер Х.**

Ф82      Революция справа / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца. — М.: Праксис, 2008. — 144 с.  
ISBN 978-5-901574-71-3

Работа известного немецкого философа и социолога, одного из основоположников теории индустриального общества представляет собой яркий манифест «консервативной революции» в Германии. Автор в духе правого радикализма рассматривает перспективы развития индустриального общества, рабочего движения и социального государства через призму смены векторов развития — от «революций слева» к «революции справа». На русском языке книга публикуется впервые.

ББК 87.3

© Ю. Ю. Коринец, перевод, 2008  
© А. Ф. Филиппов, статья, 2008  
© А. Кулагин, оформление обложки, 2008  
© Издательская группа «Праксис», 2008

ISBN 978-5-901574-71-3

## СОДЕРЖАНИЕ

Революция и революционеры	11
XIX век ликвидирует сам себя	27
К пониманию понятий «народ» и «правое»	49
Эмансипация государства.	
Эмансипация человека	75
А. Ф. Филиппов. Ханс Фрайер:	
социология радикального консерватизма	99



На полях сражений буржуазного общества формируется новый фронт: революция справа. С магнетической силой, которая присуща паролю будущего, прежде чем он высказан, она привлекает в свои ряды из всех лагерей самых твердых, самых деятельных, самых современных людей. Она пока еще готовится, но она победит. Пока что ее движение — это лишь выступление умов, без ясного сознания, без символа, без руководства. Но фронт возникнет внезапно. Он выходит за пределы старых партий, их тупиковых программ и запыленных идеологий. Он успешно оспорит не реальность, но самомнение повсюду ставшего мелкобуржуазным мира с его заржавелыми классовыми противоречиями и притязанием на политическую продуктивность. Этот фронт покончит с пережитками XIX века, который еще сопротивляется, и освободит путь истории XX века.

Тот, кто мыслит позавчерашней схемой буржуазии и пролетариата, классовой борьбы и экономического мира, прогресса и реакции и не знает ничего, кроме проблем распределения и страховых премий для ближайшего будущего, ничего, кроме интересов, которые противятся друг другу, и посредничающего между ними государства, тот, конечно, не видит, что вчера уже началась новая перегруппировка целей и сил. Он путает революцию справа с всевозможными хорошими, но безопасными нарушителями спокойствия и причудами старого мира: с националистическим романтизмом, с контрреволюционным активиз-



мом, с идеалистически оштукатуренными партиями *juste milieu*<sup>1</sup> или с пресловутым надпартийным государством. Он думает, что здесь происходит имитация фашизма, воодушевление *action française*<sup>2</sup> в Германии или же Советская Германия с помощью известных реминисценций из немецкой истории права соблазняет романтиков. Примирительное заключено в том, что этот человек при всех таких смещениях лишен спокойной совести. В конце концов он ощущает только, что нечто внешнее и непостижимое стучит по его шорам. Тем самым, насколько дело касается его, он пока что находит верный ответ.

Но и те, в ком жива новая воля, большей частью сознают происходящее лишь отчасти. Если они хотят заявить о себе, то говорят судорожным языком прошлого радикализма. Или же не смеют признать, что вещи, если смотреть вперед, выглядят иначе, нежели выглядели в течение столетия. Насколько многообещающе, что революция справа, не проявляясь, не оправдываясь и не требуя, безмолвно сформировала внутри старого общества элементы общества нового, настолько же настала пора для новой действительности обрести первое самопонимание.

Речь не идет о том, чтобы убедить сомневающихся, ободрить нерешительных, привлечь сопротивляющихся или освободить связанных. Тем более не о том, чтобы привести доказательство, без которого сегодня ни одно движение не считает себя успешным: что всемирная история ожидала как раз их и все прежнее было рассчитано на них. Речь идет исклю-

<sup>1</sup> Золотой середины (франц.).

<sup>2</sup> «Аксьон Франсез» (франц.). Праворадикальная политическая организация во Франции XX века, созданная и руководимая Шарлем Моррасом. — Прим. ред.

чительно о том, чтобы констатировать некоторые законченные факты, возвысить до осознания некоторые надвигающиеся тенденции, созревшие в них решения представить тем, кого это касается.

Впрочем, этот процесс идет давно. Он не требует стимула и пробуждения. Но пожалуй, он нуждается в постепенном осознании того, о чем именно идет речь, и насколько далеко мы продвинулись. Всякую удобную возможность можно и упустить, всякая сила может пойти и ложным путем. В определенный момент пущенное на самотек развитие должно стать осознанным действием, свершающееся должно стать решением, исходная позиция должна быть возведена в степень фронтовой. Лишь решительная ясность относительно самой себя освободит революцию, которая идет, от политических сил старых правых, с которыми она многократно сцеплена, и позволит избежать опасности, заключающейся в том, что революция окажется впряженной, в качестве ломовой лошади, в монархическую, крупнокапиталистическую или мелкобуржуазную повозку. Лишь беспощадная ясность относительно самой себя предохранит ее и от того, чтобы перепутать себя с самой собой, т. е. окончательно отождествиться с какой-либо из волн, которые она вызвала на поверхности современности.

Общественная действительность незаметно, но несомненно перегруппировалась у нас на глазах, в наших руках, даже в наших головах. Итак, откроем глаза, протянем руки, наведем порядок в наших головах и перегруппируем и наши идеи об общественной действительности. Мы всё еще мыслим так, как будто живем в XIX веке. Но главные и центральные идеи этого века на самом деле давно утрачены, а утесы его веры рассыпаются словно песок. Идеалисты

его прогресса являются сегодня подлинными реакционерами. Их идеи истории, современности и совершенства внезапно сами стали историей. Давайте так и воспринимать их, не дадим им вскружить нам голову, но будем мумифицировать их как классические свидетельства прошедшей эпохи.

Тем временем новая действительность работает в тысячах и тысячах умов. Она пронзает нас, ибо кто же может быть полностью современным, — но она охватила всех нас. Нужные ей идеалы, ценностные понятия, иллюзии новая действительность произведет сама для себя как часть собственной реальности. Предвосхищать ее идеи было бы легкомысленным пророчеством. Нельзя подготовить историческое движение как театральную постановку. Ибо нет либретто, согласно которому она начнет играть; она обретает свой язык лишь в собственном свершении.

Но возможно вот что: формирующийся сегодня фронт нанести на карту времени; без предвосхищения, но с чувством динамики современности; без пронунсиаменто (военного путча), но с уверенностью; без веры в исторические чудеса, только констатируя то, что есть.

## РЕВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Все прежние революции были революциями слева. Везде, где наследственное пастьрство народов приходило в упадок — а какое пастьрство народов в течение веков не пришло в запустение, — терпеливая паства превращалась в воинственную чернь. Везде, где господство вырождалось, загнивало или черстве-ло — а какое господствующее сословие могло противостоять сладостному яду декаданса дольше, чем на протяжении пары дюжин поколений? — революционные энергии скапливались в массах, и честолюбивые бастарды готовы были способствовать их взрыву.

Хорошо упорядоченное сословное общество может существовать столетиями, несмотря на все несвободы, которые оно возлагает на крестьян, и вопреки всем тяготам, которые оно возлагает на граждан. Оно имеет свои внутренние движения, но эти движения текут в нем и не взрывают его. Его средние слои стремятся ввысь, однако тем самым они подтверждают, что верх есть.

Но когда рыцарская жизнь превратилась в тунедство столиц, привилегии — в ренту, щедрость — в расточительство, аристократическое достоинство — в высокомерие тайного страха, никакая личная охрана и никакое священство не удержат прогнившее строение. Против аристократии, каковая является элитой, возражать будет только тщедушный улучшатель мира, но никогда не будет делать этого широкоплечий народ. Однако механическое давление

вызывает сжатие, а просроченное господство — революцию. Нет такой *merry old England*<sup>1</sup>, которая не знала бы своих круглоголовых ханжей-пуритан, нет *ancien regime*<sup>2</sup>, который не пережил бы своего штурма Бастилии, нет такой царской аристократии, которая не знала бы своего большевизма. Все прежние революции происходили снизу, а виновниками их были верхи. Всякий общественный строй в мировой истории имеет свои мелкобуржуазные средние слои, которые похожи на песок или кашу и которые можно как угодно дробить и давить — но имеет и своих плебеев, свои массы граждан и крестьян, своих протестантов, свои пролетариаты, в которых была заключена потенциальная революция.

С тех пор как жесточайшее изобретение европейского духа, современный капитализм, разрушил идиллию доброго старого времени и буржуазия в его революциях стала активным политическим элементом, революция в Европе вступила в хроническое состояние. В прежние эпохи истории она вспыхивала, когда имелись *gravamina* (жалобы). Она вырывалась вверх как остроконечное пламя, когда вопиющие злоупотребления властью раздували тлеющее волнение. Революция обращалась против трона, бастионов, тираний, самовольно присвоенных барских прав, против королей и аристократов, против самых что ни на есть крепких, осязаемых и отсекаемых объектов. Побеждала она или терпела поражение, во всяком случае она делала свое дело и тем или иным образом заканчивалась.

Но с риторического вопроса аббата Сийеса, что же

<sup>1</sup> Доброй старой Англии (англ.).

<sup>2</sup> Старого режима (франц.).

такое третье сословие, в буржуазных обществах революция стала перманентной. Следующий вопрос, что такое четвертое сословие, следовал по пятам, а дальнейший вопрос, не существует ли пятое сословие, встал сам собой, когда у промышленного пролетариата пропало хилиастическое представление, что его мрачная масса сама собой становится все более сплошной и мрачной. Революции либерального столетия уже не являются эпизодами и изолированными событиями. Они справедливо воспринимают себя как один и тот же, прерываемый паузами, становящийся все радикальнее, проникающий все глубже в общество процесс. Великая революция свободы, равенства и братства, вторжения ее взрывных идей за французские границы, неугомонные демократы, либералы и националисты в разных странах, революционные баррикады 1848 года, международные товарищества рабочих, коммунары, коммунисты, диалектический переход потерпевшей крах Мировой войны в гражданскую войну с пулеметами, — это не отдельные воспламенения, но непрерывный пожар, это не отдельные удары, но универсальное, поступательное сотрясение, которое позволяет понять эту эпоху буржуазных обществ как эпоху перманентной революции.

Те, кто подобно буржуазным социологам XIX века объясняют этот революционный характер XIX века индивидуализмом его духа, иссяканием его веры и распадом его связующих идей, принимают следствие за причину. Эта эпоха революционна по своей исторической субстанции. Ее состояния равновесия являются видимостью, ее народы — классовыми бойцами, ее спокойные времена — краткосрочными компромиссами. Ее политический порядок построен на

лезвии ножа острых напряжений, ее хозяйство основано на кризисах. Эта эпоха в своей действительности является чистой диалектикой: диалектический материализм — это учение, которое глубже всего поняло закон ее движения.

Лишь в аду механических ткацких станков Ланкашира, только когда brutальная машина развитого капиталистического производства в связи с конъюнктурой убрала трудящиеся массы из сельской местности и извергла их на мостовые, лишь когда мужчины, женщины и дети стали наемными рабочими, чья тупая ловкость рук обещала баснословную прибыль, когда голод сделал их дешевыми, — только перед лицом этого пролетариата могла быть обнаружена философия революции, в достаточно готовом виде для того, чтобы быть достойной своего предмета; можно было отождествить философию с революцией и революцию с философией.

Для революции старых времен был важен не только шиллеровский пафос свободы, романтизм тайных союзов буршей, но и, по меньшей мере, необычайная слава баррикад. Ради правого дела тот, кто занимался обычной буржуазной работой, занялся в мае [1848 года] ремеслом насилия, чтобы чистыми руками сбросить иго тирании; казалось, что сама богиня свободы сходит на землю, зажигая в сердцах людей свой факел.

Но революция стала рассудочным, секулярным, проходящим по законам природы, научно просчитываемым делом. Поспешные вспышки гнева против предпринимателей и машин были заклеяны как простительный, но бессмысленный бунт; учения об освобождении, которые апеллировали к настроению, были отвергнуты как сомнительный утопизм. Не в

мягком материале представлений и нравов, которые могут возомнить что угодно, но в жестокой и молчаливой диалектике вещей, машин, товаров, производственных отношений разыскивали революционную историю свободы. Уже не проповедывались требования богини разума, но изучалась структура капиталистического хозяйства. В итоге обнаружили, что буржуазное общество с самого начала было предрасположено к краху. Оно содержало столько взрывчатого материала, что можно было несомненно рассчитывать на его взрыв. Если только правильно проанализировать закон движения этого общества, каждый шаг его развития раскрывался бы как шаг к гибели. В его пролетариате, постоянный рост которого является условием существования этого общества, оно производило собственного могильщика. Революционный героизм уже был ненужным и стал чуть ли не подозрительным. Сама действительность прозревалась как революционная. И революционная теория ощущала себя лишь вершиной, которую гнала перед собой самодвижущаяся катастрофа по законам образования идеологии.

Эта материалистическая философия, закоснелая в диалектике, как все по-настоящему хорошие продукты XIX века, впервые стопроцентно познала революцию, какой та была прежде: революцию слева. Это и неудивительно, поскольку сама революция, лишь овладев современным пролетариатом, прогрызла путь к своей стопроцентной реальности. Ее законы были ранее сокрыты, теперь они открыты. Не тайные общества, сплоченные клятвой, но классы, объединенные интересом, не угнетенные идеалисты, движимые идеей свободы, но угнетенные классы, движимые своими интересами, служат на-



дежными линейными войсками революции слева. Они всегда являлись таковыми, но действовали в сумерках идеологии. И только когда окинешь взглядом прошлое с вершины революционной истории человечества, становится очевидным пронизывающий ее закон.

Лишь теперь революции равны по формату и весомости другим всемирно-историческим движениям, великим переселениям народов, битвам народов, образованиям государств, экспансиям. Как во всех исторических решениях, которые действительно чего-то стоят, реальность в них расщепляется на определенную двойственность, между сторонами которой не существует нейтралитета. Можно оставаться и нейтральным, но тогда это будет мелкой буржуазностью, частной жизнью, бесхарактерным средним слоем, неисторическим придатком. Как бесспорны границы между борющимися классами, так и успех их столкновения выше всякого сомнения. Ибо одни являются представителями прошлого и извлекающими из него выгоду, тогда как другие держат в своих руках будущее. Как вода в долину, в них стекается эпоха и власть. Чем ужаснее они нищают, чем радикальнее их существование обесчеловечивается и ввергается в судьбу быть ничем, кроме как классом, тем ближе надвигается антитеза их диктатуры. Они могут произнести смелое утверждение, которое является в то же время условием и лозунгом всякой подлинной революции: кто был никем, тот станет всем. Ибо как класс с радикальными оковами, как сословие, над которым совершают не какую-то особенную несправедливость, но несправедливость абсолютную, они означают полную утрату человеческого: именно поэтому сами они могут победить только

через полное восстановление человеческого. В своей ситуации они представляют универсальное страдание, и потому в их эмансипации содержится универсальное освобождение от страданий. Они не являются более частью буржуазного общества, но представляют собой его смерть и его будущее.

Но в противоположность им, с другой стороны свершения, находится другой класс: воплощение всеобщей преграды, камень всеобщего преткновения. И этот класс — то же не часть, а целое; однако это целое несправедливо узурпированной власти, целое прошлого, целое в своем отрицании.

Во всякой подлинной революции действительность такого рода сосредоточивается в двух полноценных противниках, в двух целостностях с противоположными знаками; и лишь там, где существует такой дуализм не на жизнь, а на смерть, там есть подлинная революция. Особому сословию довелось стать представителем прав и притязаний самого общества, ему суждено было стать сословием освобождения *par excellence*. Другому сословию было суждено стать явным сословием порабощения и социального преступления. Только тогда социальное движение первого обладает самоощущением, ударной силой и метафизическим значением подлинной революции. Повсюду, где в мировой истории народ будущего выступает против сил прошлого, свершение заостряется столь по-гегелевски аристократично, с таким диалектическим рвением перемалывая прослойки и отвергая промежуточные решения. Там, где революции имеют значение, они несут в себе этот драматический закон, который превращает часть в целое, а особенный интерес — в универсальное дело. Буржуазия против аристократии и духовенства, проле-

тариат против буржуазии, — это не локальные мятежи, в которых торгуются за политические индивидуальные права или доли участия в прибавочной стоимости; но это — всемирно-исторические ситуации, которые достигли последнего диалектического выражения, созревшие преобразования общества в новый принцип.

Конечно, сугубым мифом является то, что сословие фабричных рабочих, поскольку оно было в XIX веке самым бесправным и первым в нищете, представляло страдание мира, а буржуазия, поскольку она обладает средствами производства, представляла грех мира. Это величественный род хилиазма — верить, что стоит лишь разорвать оковы этого классового соотношения, чтобы после интермедии, продолжающейся пару тысячелетий, вновь открыть историю человеческой свободы.

Но грубая реальность современных классовых битв и ее материалистическое истолкование в любом случае внесли окончательную ясность в этот вопрос: как делаются революции, как выглядят революционеры — не где-нибудь, где надвигается кризис, но там, где революционизированы основы общественного порядка.

Революция старомодна или в крайнем случае она — прелюдия к чему-то иному, в которой еще не задействованы кадровые войска — там, где она работает с адскими машинами, с тайными организациями, с индивидуальными покушениями. Ни гильотины, ни ручные гранаты, ни даже разбитые оконные стекла не присущи ее идее. Насилие — это только ее облачение: при серьезном обороте дел она может рядиться в легальный переворот, в давление масс, в силу избирательного бюллетеня.

Но ее воплощенная суть — одна и та же во всех формах проявления. Под покровом и в формах существующего общества образовались элементы нового общества. Все, что современный порядок о себе самом говорит, мыслит, знает, стало ложным. Он лжет, когда открывает рот, — лжет так органически, что ему не нужно искажать истину, поскольку обман слит с его словами. Даже еще больше: все, чем *является* существующий порядок, стало ложным. Чтобы лгать, ему вовсе не нужно открывать рот или размышлять. Его основы не являются несущими, они лишь притворяются таковыми. Его право не значимо, оно только функционирует. Его ежедневная работа — это деятельная серьезность законченных безумцев: все единичное чрезвычайно важно, но Целое — это бессмыслица, и страх в глубине души знает, что это бессмыслица. Что существуют эти классы и что они так относятся друг к другу, что власть имущие обладают властью и что официальные штурвалы, если вертеть их предусмотренным образом, будут вести корабль, что дело в этих позициях и все стремится к этим решениям, — хотя все это пока еще составляет современность, но оно уже целиком полное; несмотря на то, что в это все еще верят, оно давно уже не истинно.

В таком положении, которое созрело для переворота, нужно очень точно вслушиваться, чтобы среди многих противодействующих голосов и сил опознать поистине революционные силы. Сначала это честные критику своей культуры, патетические обвинители эпохи, глашатаи героического переворота, проповедники в пустыне цивилизации. От их чутких и независимых душ не остается скрытым обман, которым занимается современность. Они ощущают его,

даже если внешне все еще идет хорошо. Поскольку они не втянуты в суету, но неподкупно живут в горных высях, они обладают необходимой дистанцией. Поскольку они воспитали свой дух на старых, более могущественных способах рассмотрения мира и человека, они обладают великим мерилom. Понимание в союзе с совестью действительно способно оторваться от их эпохи, и насколько мощно они говорят ей правду, это теперь вопрос моральной силы.

Но для более глубокого взгляда *эти* вероотступники все еще принадлежат к церкви, от которой отрекаются. Они попадают под собственные обвинения, и если они вполне суверенны, они знают это. Их Нет укоренено не где-нибудь, а в эпохе, к которой оно обращено. Они принадлежат ей, как критика театру.

Ибо самым честным показанием должника в суде под присягой всегда свидетельствуют только банкротство. Тем, что у современности констатируется отсутствие нормы, ее нельзя изменить. Касаясь сна мира, мы еще не делаем истории. Критика умов и совести, даже если в них заключена вся кровь сердца, — это еще не революция. Революция начинается лишь там, где критика становится плотью и кровью: где в скорлупе современности прорастает воплощенное и взрывное зерно; где узел завязывается в недрах самой реальности; где свободные силы, которые не поглощены современностью, не только добросовестно выносят приговор времени, но в своем бытии репрезентируют историческое изменение эпохи.

Лишь тогда происходит нечто большее, чем моральная *reservatio mentis*<sup>5</sup>, и большее, чем военный

<sup>5</sup> Мысленная отговорка (лат.).

поход на службе истины. Лишь тогда критика выходит за рамки позиции своего объекта. Лишь тогда просит слова такая сила, о которой справедливо утверждение, что она одновременно ничто и все: ничто в сегодняшней системе, — все, а именно будущее в настоящем, в субстанции эпохи.

Если принять за основу это взыскательное понятие революции, революция становится белой вороной среди имеющихся мыслей; но белой вороной она становится и среди реальных движений общества. И из общественных движений истории лишь совсем немногие (сколько бы их ни считали революцией) являются революцией. Как такт не делает музыку (это может быть и добрая работающая мельница), так и скопление людей, решительное представительство ущемленных интересов или пробуждение угнетенного общественного класса не делает революции: это может быть и храбрая борьба за незаконно отобранные права.

Заинтересованными сторонами в обществе являются, в конечном счете, все, как в природе все имеет вес и заполняет пространство. Где интересы наталкиваются на контр-интересы, начинается давление, а если сопротивление не уступает, завязывается борьба. Еще никогда господствующий класс добровольно не раздавал бедным одеяние господства. Лишь единицы являются святыми. Сословия не смиряются. Классы не ведают великодушия. Однако в угнетенных неумолимо растет сознание их угнетенности, в необходимых — осознание их незаменимости, в массах — сознание их власти. Так всякое общество представляет собой борьбу классов, открыто или тайно, хронически или в острой форме. Классовую борьбу можно и нужно не сеять, ее только пожи-

нают. Общественный строй должен быть уже очень взболтанным и обточенным, если в нем все должно отстояться, стать уравновешенным, упорядоченным. Юные сословные порядки иногда совершают чудеса, которые заключаются в нахождении формулы земной справедливости, каковая некоторое время убеждает. Совсем старые цивилизации, может быть, совершают чудо еще раз: когда все силы изношены, все компромиссы заключены, все утопии обессилены, все противоборствующие интересы могут соединиться в зрелом покое среднего положения. Но между тем, на протяжении всей истории, общественные интересы напоминают твердые тела, которые воздействуют друг на друга точно по мере их массы и живой силы. Положения равновесия являются мгновенной конфигурацией. Удар тормозится только контрударом. Общественная борьба может успокоиться, но не прекратиться. Если она успокоится как открытое действие, то продолжится как перегруппировка сил, как позиционная война, как парламентские переговоры или как покорность эпохе.

В этих всегда продолжающихся общественных движениях решается (скорее: в них давно *решено*), происходит ли революция или нет: ниспровергается ли нечто или нечто упорядочивается. Маркс охарактеризовал стиль, с которым в его эпоху в Германии боролись на социальной почве, как скромный эгоизм. «Скромный эгоизм» — блестящее выражение для всего, что является общественным движением, но не революцией. Само собой разумеется, мы охвачены нашим эгоизмом. А у кого его нет? Не плохи ли у нас дела? Не относятся ли к нам несправедливо? Не стремимся ли мы на волю? И разве мы не молоды? Но ведь мы так скромны. Мы лишь хотим, что-

бы нам лучше жилось. Чтобы с нами поступали по справедливости. Мы лишь хотим углубиться в себя. Мы лишь хотим стать старше.

Если задать вопрос, сколько из общественных движений не построены точно по этой формуле, — останется немного. При этом речь идет не о волнении, не о пыли, которая кружится вихрем, и даже не о добrote хорошего права, за которое боролись. Даже самый скромный эгоизм может стать в высшей степени неприятным. Что он может быть совершенно справедливым, — об этом уже было сказано. Решающим является единственно то, за что ведется борьба: за обновление Целого или за собственное место в водовороте системы. Решающим является только притязание, — не столько требование революционеров к другим, сколько требование к себе. Решающим является только вопрос: мельница или музыка.

Впрочем, не надо недооценивать ни ударную силу скромного эгоизма, ни его роль в истории человечества. В этих движениях все общество сдвигается вновь и вновь, в зависимости от нажима действующих сил. В них невыносимые напряжения нейтрализуются в устойчивые положения вещей. Слои общества, растирающие до крови себя и других, включаются в установленный порядок и тем самым становятся позитивными. Вверху светит солнце, — это знает любой ребенок. Что это действительно солнце, которое светит там вверху, — не подлежит сомнению. Итак, речь идет лишь о том, чтобы протиснуться, пробраться. Тогда душенька будет довольна. Тогда система вновь в порядке. Тогда завоевано место под солнцем.

На деле история справедливости в огромной части определялась этим почтенным бойцом, скром-



ным эгоизмом. Где было бы человечество, если бы надежный механизм классовой борьбы вновь и вновь не впрягал рабов в триумфальную колесницу свободы? То, что мы именуем сегодня человечностью, свободой, равенством, правом, моралью, справедливостью, представляет собой блестящий продукт этих никогда не устающих, в течение длительного времени всегда победоносных, после каждого разряжения вновь заряжающихся сил потрясения. Итак, ни слова против заинтересованных лиц и борников социального прогресса. Из чего следовало бы строиться обществу, которое ведь является не разумным существом, а конstellацией сил, как не из вписывающихся в него интересов? Но революция вовсе не является всем этим. Кто был «ником», не становится здесь «всем». Здесь человечество в своем современном бедственном положении не вынашивает будущее Целого. Здесь не рождается новый принцип истории. Но в случае революции все совершенно не так.

Стоит предложить настоящим революционерам прекраснейшее место под солнцем сегодняшнего дня, как они скажут: нет, спасибо, лучше мы останемся при своем отрицании. Они непримиримы. Они не дадут включить себя в порядок. Они не придают большого значения гражданским правам господствующей системы. Ибо настоящие революционеры знают, что их негативность является неисчерпаемым источником энергии. И они стремятся вверх; но только так, что ликвидируют верх, исходя из которого их низ находится внизу. И они чувствуют себя вовне, но говорят: ну и слава Богу. И они стремятся внутрь: но поистине не в существующий порядок, но к действию, изменяющему этот порядок. У них тоже есть

интерес. Но их интерес тождественен будущему Целого, хотя это и не их заслуга.

Если история породила такое положение, то не существует апелляции к частному лицу, ни к его скромности, ни к его эгоизму. Ибо тогда лицо уже не является частным, оно целиком стало носителем нового исторического принципа: целиком сословием, целиком классом, целиком народом, целиком тем фронтом, который участвует в революции. Тогда эпоха разорвана на Да и Нет, современность расщеплена на конкретное прошлое и конкретное будущее, общество из множества благопристойных интересов стало полем битвы двух миров. Только там, где социальная материя обладает такой структурой, физика общества должна говорить о революции. Революция — это рождение нового принципа в истории общества. Революционеры — это те люди, которые *являются* этим новым принципом, прежде чем он становится исторической реальностью.



## ХІХ ВЕК ЛИКВИДИРУЕТ САМ СЕБЯ

Величественная диалектика ХІХ века состоит в том факте, что человек без существенного остатка становится общественным существом, и потому история в центральных процессах становится общественным движением: классовой борьбой. Гражданин превращается в буржуа, публичная жизнь — в хозяйство, собственность — в капитал, отсутствие собственности — в пролетариат, политика — в либерализм. Этот факт запечатлен в том, что революционная энергия, которая щедро придана этому веку, без остатка абсорбируется общественными интересами и перемещается в общественное действие. Не только труд, мышление, государство, но и революционная сила этого мужественного века становится экономикой. Диалектика опускается в самый жестокий слой современной культуры, в капиталистическое хозяйство. Революция превращается в классовую борьбу. Поэтому ХІХ век можно постичь только материалистически. На все времена он является классицизмом революции слева.

Кто посмотрел бы с далекой звезды на то, как люди в Европе строили *индустриальное общество*, тому пришлось бы считать это предприятие неосознанным и невольным беспримерным риском. Как раз те его детали, которые до сих пор, пока существует мир, считались покорными душами и как упорядоченные прослойки обладали относительной ценностью, изымаются, упрочиваются в себе и перерабатываются в конструкцию, которая, если расчет правилен, долж-

на нести сама себя. Строеие из сплошной промышленности и строеие только из общества, — какаа грандиозная абстракция: но она становится конкретным фактом; кааой неслыханный риск: но на это рискует род филистеров.

Крестьянин, сословие, существующее испокон веков, становится пограничным понятием. Уголь, миллионы лет лежавший под землей, добывается. Природа, бывшая до сих пор лесом, который можно преобразить в сад и в котором среди прочего можно высаживать города, становится местом расположения отраслей промышленности, которые поставляют друг другу полуфабрикаты, и резервуаром энергий, которые можно преобразовывать друг в друга. Что еще не выходит, техника с готовностью изобретет, и изобретет она это внезапно. Деньги существуют не для собственной значимости, но для обращения. Человек существует не для жизни, но для работы. Смысл производства в том, чтобы машины работали. Смысл потребления в том, чтобы не прекращалось производство. Постройка искусственна, но она держится.

При этом речь, конечно, идет лишь о массивных вещах, из которых действительно строят. Здесь нас не интересуют романтические воспоминания, идеалистические праздники, складчатые драпировки, благочестивые обманы, хотя без них нельзя представить себе полную картину этого века. Индустриальное общество — *au fond* (в сущности) неверующее. Оно не верит ни во что, кроме прогресса: это значит, оно верит в собственное начало, поскольку в глубине души в этом не сомневается.

Все прежние эпохи ощущали себя в чем-либо укорененными, вставшими на якорь, и поэтому бы-

ли таковыми. Когда они говорили «разум», то имели в виду действенную силу, которая не только поддерживает человека, но и упорядочивает мир; ясную глубину, в которой принимаются все решения. Если они говорили «человек», то имели в виду чудесно втянутое в жизнь существо, исполненное всесилия, с осмысленной судьбой, достижениями и телосложением, согласованное с Землей, на которой оно должно жить. Если они говорили «природа», то имели в виду безупречное, неуязвимое строение, к которому мы всегда можем возвратиться и от которого мы по существу никогда не удаляемся. На каком-либо из этих оснований всегда покоился труд эпохи: на гуманности, на истине, на вечном праве, не говоря уже о религии. Где из этой почвы бьют источники, культура не является авантюрой. Тогда на поверхности можно осмеливаться на все, ибо душа укоренена в Боге.

Но индустриальное общество зиждется исключительно на учете материй и сил, из которых оно построено. Оно вырастает не из нетронутой почвы, но свободно парит. В нем нет иных соков, кроме собственной рациональности. Оно является творением инженера, то есть чистым риском. Когда формула неверна, взрывается газ. Когда переходят критический порог, разрывается материал. Когда перегревается аппарат, система разлетается на куски. Интеллект, создавший Целое, в соответствии со своей природой, не останавливается и перед этими проблемами. Он точно знает, откуда исходит угроза. Расчеты и вычисления, по которым система функционирует, с логической необходимостью переходят в расчет симптомов ее кризиса, условий ее краха. Инженер является архитектором, но в то же время и Мефистофелем системы.

То, чего в конечном итоге желают, когда стремятся к индустриальному обществу, — это *perpetuum mobile* (вечного двигателя) из ценностей материальных благ, квантов работы, средств сообщения и потребностей масс. Предпосылкой было бы то, что в механизм как необходимое условие не нужно включать ничего неисчислимого. Пока речь идет о стали, электричестве, деньгах, путях подвоза, требуемая абстракция легко достижима. Но есть еще человек. Природу и абстрактную экономику можно беспрепятственно мысленно перевести в количество материи и энергии. И человечество также? К сожалению, мы не можем построить людей-машины. Мы в самом деле не можем этого? Здесь машина учится хватать, ткать, формовать, считать, писать. Она учится тому, что прежде делал лишь человек, может быть, неохотно, непостоянно и по странным мотивам: она учится работать. И она учится делать это точнее, интенсивнее, пригоднее, чем когда-либо мог он. Но пробел остается, он не затягивается: живая рука, которая двигает рычаг, живой палец, нажимающий на кнопку. Итак, волей-неволей приходится встроить человека в наш механизм: по возможности только как руку,двигающую рычаг, как палец, нажимающий на кнопку. Сделаем человека абстракцией. Сформируем его по образу машины. Сделаем его «рабочим».

Все это не содержалось в духе происходившего как осознанный умысел, ни как ясное понимание ни в одном из свершений, которые соучаствовали в процессе. Это произошло так, как творятся судьбы. Эпоха машин сложилась из буржуазной благопристойности, из серьезного стремления к прибыли, из доли смелости, из малой толики brutality и из пристального взгляда на ближайшие шансы. Если бы

этого желали с предосторожностью, то эпоха машин никогда бы не проникла в человеческий мозг.

Что касается «рабочего», то неосознанный план вполне удастся. Процессы, при которых разлагается сословный порядок донаполеоновской эпохи, чудесно идут навстречу потребностям индустриального общества. Дед был еще крепостным, отец был батраком, основательно освобожденный сын стучится в фабричные ворота и работает за почасовую оплату. Из ремесел и кустарных промыслов, из города и деревни, отовсюду, где до сих пор хладнокровно делали повседневную работу, под знамя пролетариата встают рекруты. Индустриальное общество проникает сначала в растущие города, потом распространяется вширь, в деревни. Куда оно не проникает, проникают его воздействия, железные дороги, формы мысли, нравы и представления о чести. Ценности избавляются от вещей и становятся ценой. Тот, кто считает, что он мог бы жить по-прежнему в старом стиле, оказывается припертым к стене. Те слои народа, которые по профессии и убеждениям придерживаются наследия отцов, видят, что их оттеснили в оборону; и не только это: их фронт обошли, борьба разыгрывается совсем в другом месте. Если раньше их сословие поддерживало общественный строй, их образование репрезентировало дух культуры, то теперь они стали парящей серединой, которая больше ничего не поддерживает, — пожалуй, даже крошащимся краем.

Это, конечно, карикатура, что существуют только капиталисты и пролетарии, а все, что между ними, — аморфно в общественном смысле, беспомощная половинчатость, в лучшем случае — солдат в обозе, подчиняющийся одним или другим. Но и ка-



рикатура может, как известно, быть весьма верной: она может обрисовать структуру, о которой идет речь. А речь идет именно об этой структуре, и чем дальше продвигается столетие, тем в бóльшей степени. Здесь формулируется революционная тема ХІХ века. Здесь воля, которая должна стремиться к изменению, становится живой как конкретная масса и как конкретное движение. Здесь в устройстве индустриального общества произрастает трансцендирующий его принцип.

Нужно представить себе структуру этого общественного устройства с конструктивной фантазией, чтобы понять, какие совершенно непредвиденные взрывные силы оно неизбежно порождает у своего нижнего предела. Циклопическое строение из экономики и общественного интереса — на деле взгроможденное не циклопами, но в высшей степени расчетливыми реалистами — должно помыслить все свои структурные элементы как товар и цену: лишь при этом условии возникает его расчет. Даже не теория его революционеров, но оно само превратило работу в товар, человека — в придаток машины, культуру — в идеологию, экономику — в базис и единственную серьезную реальность. То, что не сразу поддается включению в экономическую систему как позиция, проще говоря: то, чего нельзя купить — например, истину, государство, человека — нужно абстрагировать от самого себя, нейтрализовать до общественного интереса или до голой техники, пока оно не редуцируется к экономике. Простое осмысление не очень бы помогло. Нерифмуемые вещи необходимо преобразовывать, пока они не зарифмуются. Здесь индустриальное общество совершило свое материалистическое чудо. Но

и здесь, в сердцевине его собственной области, возникла его диалектика.

Насколько это было необходимо, государство можно было нейтрализовать, сделав его судебным приставом хозяйства, сделав его либеральным. Человек же не позволял себя нейтрализовать: он пробуждался. Этот рабочий при машине, рабочий в совсем ином смысле, чем работавшие когда-либо на Земле, свободная, абстрактная, недорогая, имеющаяся в изобилии рабочая сила и в этом отношении великолепнейший материал индустриального общества, прямо-таки представитель его идеи, пробуждаясь, становится человеком и превращается тем самым из представителя системы в ее врага, в опасность для нее.

Человек мог бы спокойно становиться существом с классовым сознанием, при этом логике индустриального общества ничего бы не угрожало. Ведь эта логика мыслит общественными интересами. Хотя организованные интересы и не столь удобны, как неосознанные и обособленные: они более могущественны и, если нужно с ними договариваться, обходятся дороже, — но они не являются новым принципом и опасностью для существующего. Предпосылкой служит лишь то, чтобы эта масса, в которой каждый отдельный член заменим, а их совокупность незаменима, оставалась бы тем, что она есть: фондом рабочей силы, предложением на рынке, средством производства, которое стоит зарплаты, сильной рукой, которая желает.

И именно здесь система рвется. Средство вспоминает о своей свободе целеполагания. Какие цели оно желало бы полагать, — об этом оно размышляет недолго, ибо у него нет выбора. Самый невозможный лозунг, который мыслим с точки зрения индустри-

ального общества, подобно горючему устремляется в пролетариат: эмансипация человека. Это означает для этого рудника взрывной рудничный газ. Что кажется встроенным в качестве прислуживающей силы, воспринимает себя как суверенную силу, как самоцель, как норму. То, что кажется нейтрализованным в общественных интересах в уравновешенном взаимодействии индустриального общества, полагает себя абсолютно: сегодня как абсолютная утрата человека, завтра как его абсолютное новообретение. Рациональная система индустриального общества внутренне целиком замкнута на саму себя, и тем не менее в своем фундаменте она несет нечто совсем иное, воплощенное отрицание самой себя. Чем убедительнее она становится, тем ближе приближается мысль поменять знак у образовавшей затор силы этого отрицания: экспроприировать экспроприаторов и из рабов машины сделать господ над машинами. Ни один диалектик не мог бы придумать тревожность этой диалектики, которая стала здесь банальной реальностью. «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Когда в доме, состоящем снизу доверху из сплошь рациональных строительных материалов и принципов, бродит призрак, может создасться гротескное положение. Привидение и реальность могут поменяться ролями. Сам дом становится призраком, его прочная рациональность растворяется в мерцающем свете и безумии, и единственной реальностью становится бродящий в нем призрак.

ХІХ век рассчитан на эту переоценку ценностей, на это преобразование реальностей. Находящаяся в его сердцевине революция определяется так, что не только ничто становится всем, но и призрак

оборачивается действительностью. Все, что делает государство обществом, все, что делает капитализм все более капиталистическим, что делает индустриальное общество более индустриальным, заряжает эту апокрифическую ситуацию. Все, что делает конструкцию системы более рафинированной, самодвижущейся, техничной, невольно реализует кризис и катастрофу. Безумная возможность, что, после того как все станет колесом, все колеса могут остановиться, весьма скоро превратится из измышления и хвастовства в реальное оружие в классовой борьбе. Призрак приобретает цвет крови и выстраивается в батальоны. Его сигналы режут слух веку. Теория, разрывающая индустриальное общество в острой классовой борьбе, есть не что иное, как блестящее отражение того, что реально происходит в субстанции эпохи; идея мировой революции — не что иное, как историко-философский вывод из движения современности.

Эта диалектика индустриального общества — по видимому, неизбежная, если ее высчитывать, по видимому, неудержимая, после того как она началась, — не легитимирована историей, а значит, она не свершилась. Не то чтобы она преждевременно ослабела или была подавлена противодействующими силами, но она преодолевается. Не то чтобы ее ударная сила пошла на убыль, но она получает иное толкование; по пути она меняет носителя и смысл. Революция рабочего при машине, как ее замыслил ХІХ век, не происходит. А там, где она происходит, она происходит против царя или — против либерального государства; итак, изменился фронт, приходит новое начало, начинается ХХ век.

ХІХ век с неслыханной последовательностью соо-

ружал свою экономическую и общественную систему, и он продвигал эту систему вперед, вплоть до революции, до *своей* революции. Интенсивность напряжения огромна. Но направление, куда оно нацелено, оказывается мнимым. Индустриальное общество выворачивается не само в себе, но выворачивается его принцип вместе с присущим ему революционным будущим; оно исчерпывается новым началом. ХІХ век предоставляет в распоряжение истории в качестве простого сырья проявившиеся противоположности и накал, который он выделяет в своей глубине. Существуют только силы, ослабления, взрывчатые вещества, но направления нет. Это сплошь переход, а не исток. Переходная революция не становится историей. ХІХ век ликвидирует сам себя.

Процесс, в котором ХІХ век ликвидирует себя, начинается с социальных идей. «Социальное» является оригинальным продуктом ХІХ века; ни одна эпоха в мировой истории не показала ему, как делать социальное. Это подлинное изобретение; оно столь же характерно для духа индустриального общества, столь же необходимо для его хозяйства, как мотор или как научное земледелие. Это, конечно же, не говорит о том, что другие эпохи не могли бы воспринимать социальную мысль, что будущие системы общественного строя не могли бы использовать социальное для своего оформления, — так же, как они будут работать с моторами и с агрохимией. Но они будут делать это совсем в другом смысле, нежели изобретатели. Не существует просто благословений. Все изобретения являются многозначными средствами. Даже социальное получает исторический смысл лишь от духа системы, которую оно помогает возводить.

Для ХІХ века социальное имеет совершенно определенный смысл. Это средство заклятия призраков. Даже нет: это средство, посредством которого призрак заклиняет сам себя. Это суррогат народного порядка в области индустриального общества. Это та часть государства, которая не утончается в либеральном смысле, но мощно консолидируется, если за это борются общественные классы.

Субстанцией социального является милосердие. Но милосердие в духе этого мужественного века закаливается, организуется, систематизируется. Оно конкретизируется из поддержки в институт, из любви в закон, из христианства в политику, из милости в подлежащее обжалованию право. Приходящая на помощь любовь по существу ничего не меняет в обстоятельствах, она на них отнюдь не направлена. Во всех обстоятельствах, как они есть, она находит более чем достаточно поводов для помощи, и она не желает ничего другого. Но если конкретизировать христианское милосердие в социальный настрой, в социальную реформу, в социальную политику, то из чуда на Земле получается сумма в высшей степени земных мероприятий, с разумным обзором и расчетливо отмеренным планом. Социальное больше не проходит мимо обстоятельств, но хватается за них, чтобы улучшить. Оно больше не преодолевает мир, охватывая души, но оно исправляет мир там, где наличествует вопиющий беспорядок, и тем самым в лучшем случае даже затрагивает души, не желая их поймать.

Когда социальное отрекается от небесной природы милосердия и, словно простая строительная сила, включается в общественную действительность, оно, безусловно, подпадает под законы успеха. Оно долж-

но стать долгосрочным в проектах, целесообразным в организации, осмотрительным в обещаниях, надежным в результатах, подозрительным к злоупотреблениям, аккуратным в бухгалтерии: благотворительность с картотекой, любовь к ближнему с движением по инстанциям. Но тогда социальная мысль, если она действует решительно и широко, а также вводится в действие в правильных пунктах, может не просто временно устранять отдельные недостатки, но может и оформлять общественную систему в целом: она может стать политикой.

Это происходит в самых сильных и здравых государствах ХІХ века. Социальная политика, обладая волей и силой, направленными на учреждение длительного порядка, вмешивается в общественное естественное состояние индустриального общества. Вынужденно созданный капитализмом пролетариат рассматривается так, как он создан, как только лишь сырье для политического оформления. И если не посягать на имманентные законы капиталистической системы (а о том, что этого хотят, нет и речи), ее действие можно ограничить. Можно полностью или частично освободить определенные сферы человеческого от жестоких законов рынка: детей, стариков, женщин. Болезнь и инвалидность предотвратить невозможно, но можно застраховать бедственное положение, которое они несут с собой. Безработицу изгнать из системы невозможно, так как она присуща ей, но системе можно помочь преодолеть кризисы. Все единичное кажется починкой, паллиативом, лечением симптомов. Но Целое, там где оно задумано политически зрело и становится традицией, объединяется чуть ли не в новый порядок, почти что в новое право.

От основательно секуляризованного христианского милосердия социальная политика унаследовала норму и этос: норму человека и этос заботы о человечестве. Социальная политика является энергичной и здоровой попыткой с помощью внутренних ограничений, правовых гарантий, минимума подготовленных резервов гарантировать человеку его человечность даже внутри механизма индустриального общества, а там, где она погибла, вновь обрести ее для него. Рабочий день и трудовая жизнь не должны быть нечеловечески длинными. Бедствие болезни не столь бессмысленно, чтобы сломить волю к жизни. Кошмарный сон безработицы не настолько жесток, чтобы разрушить все существование. Все продумано без пафоса, то есть бюрократически; но это затрагивает общее положение как раз в решающем пункте.

Революционная диалектика индустриального общества состояла в том, что эта система *faute de mieux*<sup>1</sup> основывалась на рабочей силе, которая, помимо всего прочего, к сожалению, состояла из людей. Потому лозунг эмансипации человека стал призраком. Социальная политика подходит к этому призраку, не страшась. Она изгоняет его без волшебства, без заклинания, вполне реальными и разумными средствами. Она не эмансипирует человека, но подтверждает ему, что он человек, и отсюда делает вывод. Смотри: и рабочий при машине является человеком, ибо у него есть права, — не только иллюзорные права личности, но и конкретные права рабочего. Что формальная свобода заключать договор не составляет существо человека, но при соответствующем

<sup>1</sup> За неимением лучшего (франц.).



щем положении даже создает раба, доказал свободный капитализм. Итак, речь идет не о том, чтобы освободить человека от старых правовых связей, но о том, чтобы с помощью нового права очеловечить новое положение, созданное общественным развитием.

Революционное учение ХІХ века желает пролетариата со всей жестокостью. И оно должно желать его, ибо оно представляет собой великую надежду, носителя будущего, начало истории человечества. Оно желает того, чтобы пролетариат все больше становился пролетариатом, чтобы цепи все крепче смыкались, чтобы нужда все более усугублялась, чтобы человек, наконец, стал бы только классом и уже перестал быть человеком. Только тогда можно мощным рывком сразу разорвать цепи. Лишь тогда система разрывается и происходит эмансипация человека. Но социальная политика понимает, что и в ситуации пролетария не утрачены и другие надежды, кроме эсхатологической. Социальная политика входит в обстоятельства, как они сложились без права и смысла, и постигает их — вопреки всему — как возможные отправные точки для человеческого существования. Она представляет себе существующие обстоятельства, но в то же время придерживается нормы человека. То, чего требуют обстоятельства, чтобы стать соразмерными человеку, можно сформулировать и осуществить шаг за шагом; потребуется только упорство, кроме того, надо будет склонить общественное сознание на доброе дело. Каждая частичка права, которую завоевывают для рабочего — пусть это хотя бы нюанс в правилах внутреннего распорядка на фабрике, — означает шаг в преображении пролетариата в человечество. Конечная цель заключалась бы в том, что даже труду, этой убивающей

дух работе при машине, этой бездушной барщине на чужих средствах производства, этой бессмысленной службе за ненадолго хватающее жалованье придали бы долю того, что прежде наделяло человеческую работу смыслом: какое-то укоренение в себе и в жизни, какую-то связь с активными силами личности, какой-то след от идеи призвания. К старому ремесленнику, который в собственной мастерской создает целое, рабочего уже не вернешь, да он и сам не пожелает возвращаться. Он останется верным своей машине. Но и в самом хитром разделении труда, на самом рациональном предприятии возможно испытание человеческих сил, даже в самой изощренной машинерии можно достичь человеческой ценности. Техника, которая все отчетливее отграничивает функции механизма, делает его все менее шумным, все более самостоятельным, дает известные обещания, а остатком представляется организация или педагогика. Возникает идея мира труда, которая хотя и ставит перед индивидом трудные задачи, но распространяет на его образ жизни смысл Целого; которая хотя строго расчленена, но сверху донизу требует мужественного служения и на всех ступенях имеет смысл благодаря сознанию выполненного долга. Идея мира труда, которая так мощно пронизана публичным правом труда, что для трудящегося народа она могла бы быть как раз истинной формой жизни. Таким образом, в социальной политике кроется подлинная политическая мысль. В социальной политике индустриальное общество трансцендируется в государство.

Тем не менее социальное государство было бы слабой идеей посредничества, а социальное королевство оставалось бы оптимистической теорией прогрессив-

ных гегельянцев, если бы пролетариат сам не овладел социальной мыслью и не стал бы ее поборником ради собственного дела.

До тех пор, пока социальное приходит сверху: из познания благонамеренного и из правильно понятого интереса власти, оно остается средством усмирения масс или в лучшем случае является даром; но дары не конституируют человеческую субстанцию. Лишь когда социальное становится целью борьбы, оно обретает силу изменять самих борцов, то есть обязывать их в отношении самих себя. Только когда социальное становится делом пролетариата, оно превращается из снадобья от острых повреждений существующей системы в направляющую идею исторического прогресса, которому можно служить всеми силами, который с каждым шагом раскрывает новую цель, и который в непрерывном приближении к справедливому строю социальной жизни обещает вывести за пределы классового общества.

В этом виде, а именно как борьба за социальный прогресс, социальная мысль схватывает диалектическое ядро ХІХ века, революционную классовую борьбу. Не успел закончиться век, как честный боец пролетарского фронта смог произнести призыв: партия должна сметь казаться тем, что она является на самом деле, то есть демократической партией, которая старается провести основательную реформу хозяйства и общества. Это было честно: честное признание себя сторонником программы социального прогресса, честная ликвидация революционной энергии. И это было бóльшим, чем честность: это было истиной.

Ибо бóльшая часть рабочих давно приняла решение. Не то чтобы они клюнули на гарантии, рен-

ты и права. Но они решились превратить дело социального прогресса в свое собственное дело и превратить это последнее в дело социального прогресса. Бóльшая часть рабочих боролась еще тверже, чем прежде, сознательнее, чем когда-либо, и отнюдь не думала сдаваться. Но она боролась теперь не негативно, а позитивно: уже не против индустриального общества как системы, но за его обновление изнутри, то есть на его территории. Ибо в конечном счете она могла потерять нечто иное, чем свои собственные цепи, а именно свои конкретные права и возможности их дальнейшего развития. Ей суждено было приобрести нечто иное, нежели «мир»: а именно, определенное оформление общества и государства, которое, казалось, находилось в безудержном становлении. Она больше не бродила подобно призраку, но боролась как человек; как человек, который должен защищать права, должен эти права совершенствовать, укреплять, расширять, — и время которого пришло.

Таким образом, уже не верен тезис, что пролетариат исключительно благодаря своему существованию означает снятие (*Aufhebung*) буржуазного общества. Пожалуй, существование пролетариата представляет собой проблему, о которой имеет смысл думать, и за нее стоит бороться: но именно это и означает позитивный поворот. Этот великий, постоянно растущий слой народа, на рабочей силе и воле к труду которого основана вся система, все еще находится вовне. Это положение гротескно. Но спросите их самих: они хотят внутрь. Они хотят подчиниться установленному порядку. Их требования направлены не на ниспровержение, а на признание их права, хотя не только существующего, но и того, которого еще нужно до-

стичь. Все их силы борются за преобразование системы индустриального общества на новый лад: они стремятся всецело принадлежать ей; они стремятся быть внутри системы — и больше нигде.

Можно возразить, что воля к включению в порядок системы в пролетарском движении с самого начала была горячо оспариваемым тезисом и поддерживалась лишь при постоянных дискуссиях. Это несомненно; но если начать обсуждать, стоит ли оставаться вне системы или нет, то, конечно, решат войти внутрь системы.

Можно далее возразить, что как раз по этому вопросу единство пролетарского движения развалилось, но что именно благодаря этому выявилось коммунистическое ядро, как оплот революционных энергий, тем более закрытый, тем более классово сознательный, тем более воинственный. После того как бóльшая часть изменила движению, меньшинство решительно сплотилось вокруг старой цели. После того как четвертое сословие выпало, пятое сословие перенимает наследие революции. Так оно и есть; но революции невозможно передавать по наследству. Они происходят либо не происходят. А то, что происходит позднее, является уже новой диалектикой. И даже если бы эта часть не была бóльшей, самым важным является то, что *принцип* рабочего класса включен в индустриальное общество и что он сам решил на подчинение порядку; что он преследует эту цель даже в борьбе. Остаются дальнейшие социальные проблемы, и они беспрестанно вновь возникают у нижнего края классового общества. Но теперь они мыслятся с самого начала как дальнейшие социальные проблемы. И сонмы безработных подпадают под новую логику: в момент, когда они

выступают, они являются предметом социальной политики.

Такова ликвидация ХІХ века, ликвидация его революционной диалектики. Она происходит из духа социального прогресса. Но сила, которая ее исторически реализует, — это сами революционеры. Никто кроме них не смог бы принять это решение. Никакая социальная политика сверху не включила бы пролетариат в народ, государство и общество. Сам пролетариат включается в систему; он борется, чтобы войти вовнутрь. Вся история его движения, начиная с пробуждения его классового сознания, — это единственный путь внутрь системы индустриального общества. Его самая мощная и более всего ему свойственная организация, профсоюз, — это не что иное, как воплощение воли, которая состоит в том, чтобы внутри этой системы отвоевать право труда.

Только после того, как социальная мысль собрала вокруг себя революционные силы и сделала их позитивными, то есть поборниками самой себя, все, что заключалось в ней как абстрактная возможность, становится конкретной целью воли, к которой стремятся совершенно серьезно и энергично. Лишь теперь пролетарская ситуация в том виде, в каком ее породил ХІХ век, понимается как сырье и задание для политического оформления: как естественное состояние общества, которое нужно оформить посредством права. Пока пролетариат является только классом и ничем иным, кроме класса, он не имеет места, не имеет текущих задач, не имеет обязательства — кроме его исторического долга: совершить революцию. Зыбучий песок сам ничего не строит; его единственная родина — ветер, его надежда — буря. Но если он сформировался в профсоюзы, то тем са-

мым пролетариат не только завоевал новое средство принуждения в классовой борьбе, но и обрел для себя базис, исходя из которого теперь можно действовать. Он уже не просто сила в историческом движении, но сила в существующей системе. Профсоюз дает ему нечто принципиально новое: устойчивость. Чем конкретнее его требования, чем сильнее он вмешивается, чем успешнее он борется, тем больше он превращается из врага индустриального общества в его партнера. Теперь с ним можно говорить о том, что достижимо, что посильно и что невыносимо. Рабочий класс включен в систему — не окончательно (ибо он еще борется), но принципиально. Индустриальное общество вступило в эпоху своего социального строительства.

Организованные по группам промышленности, властно объединяющие бóльшую часть промышленных рабочих, достойные противники объединенных интересов предпринимателей, профсоюзы способны возвысить до самосознания и признанной значимости то, что уже является фактом: публичность труда. Коллективный трудовой договор и его регулирование государственным правом завоевываются в борьбе с предпринимателями, но, по существу, тем самым признается уже действующий структурный закон современного мира труда. Старые профессиональные товарищества, эти зародышевые клетки общественного строя [Gemeinwesen], предстают лишь как идиллические ранние формы мощных союзов, которые оформляют социальный порядок современного мира в переговорах, борьбе за власть и договорах. Социальная политика и право государства служат лишь рамкой для их автономных столкновений, бывают сами от случая к случаю объектом борьбы и

ценой победы. Но в самих борющихся союзах, сформированных по интересам, пробуждается характер публичности. Они переросли пределы частных интересов по масштабу, средствам принуждения и ответственности. В них нашел осуществление род образования государства. Они не стали сословиями в точном смысле, ибо они не связаны обязывающим порядком, но между ними происходит лишь неустойчивая игра власти, равновесие которой меняется с изменением конъюнктуры. Тем не менее с тех пор, как социальная политика и собственная воля рабочего класса были включены в индустриальное общество, образуется строение, которое является чем-то большим, нежели механической системой из общественных интересов, а ее данное состояние — чем-то большим, нежели равнодействующей свободного взаимодействия их сил. Нельзя сказать, что организованный капитал и организованный рабочий класс корыстно извращают ценности сообщества, когда изображают из себя публичные силы с публичной ответственностью. Они действительно таковы. Как признанные представители общественно необходимых сил, они ищут формулу их уравнивания и согласования, — конечно, от случая к случаю, конечно, в жесткой борьбе за каждое преимущество, конечно, как заинтересованные лица, — и, тем не менее, с таким притязанием и эффектом, что устанавливается объективный порядок мира труда.

В высшей степени позитивная нейтрализация общественных интересов осуществляется без готовности принести жертвы и без чувства солидарности, просто таким образом, что эти интересы друг друга изнуряют и взаимно притираются в их публичном содержании. Выделяются нейтральные промежуточ-



ные инстанции: страхование, государственный арбитр, эксперт. Все это выглядит почти как государство, которое заряжается в свободном пространстве между общественными интересами и после интермеццо либерализма заново укрепляется до власти решать, до конкретного суверенитета. В действительности здесь перед нами завершение индустриального общества средствами публичного права и государственных институтов. Идея объективно упорядоченного мира труда, которая с самого начала была присуща социальной политике, становится действительностью, — благодаря автономному процессу общественных сил, которые взаимно стимулируют друг друга в нейтральной сфере публичного права.

В этой идее происходит окончательная ликвидация ХІХ века. Его революционные энергии преодолеваются, его призраки превращаются в человеческих партнеров системы. Индустриальное общество не опрокидывается, но усовершенствуется в социально-политическом смысле. В него не вторгается никакой новый принцип. Оно остается тем, чем является: строением из сплошь общественных интересов. Но индустриальное общество превращает эти общественные интересы из наивных сил в отрефлектированные силы, из радикальных — в доступные переговорам, из исторических — в неисторические силы. Так что расчет неожиданно оправдывается. Окольным путем через социальное государство становится возможным индустриальное общество.

Где находится история в этом самом историческом из всех веков? Она иссякает. Она становится прогрессом. ХІХ век отказался от своей революции. Он встал на путь социального прогресса.

## К ПОНИМАНИЮ ПОНЯТИЙ «НАРОД» И «ПРАВОО»

Решение пролетариата включиться в индустриальное общество имеет как свою позитивную, так и свою негативную сторону. О негативной стороне уже было сказано. Она заключается в упразднении революции слева, в ликвидации исторической диалектики XIX века. Позитивным аспектом данного решения является то, что оно основательно изменяет материал, на основе которого свершается, т. е. общество, построенное из противоположности и переплетения интересов, и формирует в нем новый субъект истории.

Изменение действительно происходит основательно: тайно, невольно, с молчаливой стремительностью природного процесса, с терпеливой смелостью исторического движения. Оно свершается в субстанции индустриального общества. Здесь образуется новое ядро. Здесь накапливаются и переключаются силы воли. Здесь осуществляется изменение субъекта революции.

Что благодаря включению революционеров система индустриального общества сама в себе укрепи-лась, — ни в коем случае не только видимость, но и полная истина для короткого момента. Революционеры, эти самые бесправные варвары индустриального общества, включены в государство. Дело индустриального общества как будто дошло до триариев<sup>1</sup>. Если рассматривать это в логике XIX века, то

<sup>1</sup> Имеется в виду латинская поговорка: *res venit ad triarii* —

это было грандиозным тактическим маневром или стратегической необходимостью. Таким образом, система общественных интересов теперь повсеместно замкнута. Все дальнейшие проблемы являются проблемами ее внутренней организации. В принципе, мир труда индустриального общества является завершенным.

Но общество — это не армия, которую можно муштровать, но пространство, сквозь которое пробиваются исторические движения. В армии фронт жестко установлен, и в него включаются резервы. Но здесь фронты преобразуются сами. Субъекты свершения меняются. И только в свершении решается, для кого резервы являются резервами.

Ликвидация революционных энергий могла бы на деле означать, и она означает в первую очередь то, что укрепляется система индустриального общества. С величайшим душевным покоем история наталкивается на такие тупики. В действительности, как правило — а оно действует и здесь, — в таких тупиках историческая сила воли не успокаивается, но лишь накапливается. Она собирается. Она ждет. И переключается. Она не только превращается вообще в какую-то аморфную энергию, но и подспудно формируется в инстинктивно-прозорливую мощь, в движения воли с фронтом и целью; она становится субъектом.

Как раз обращение индустриального общества к триариям, как раз включение его пролетариата в его систему, а значит, именно окончательное проведение в жизнь его принципа породили новую рево-

«дело доходит до триариев», означающая — «в битву вступают отборные войска». — *Прим. ред.*

люционную силу в лоне этого общественного устройства. Пока XIX век сам себя завершает и использует для своей постройки даже безусловно противодействующие ему силы, в нем внезапно возникает новый, поистине другой принцип и воплощенное будущее. После того как общество вполне стало обществом, познав и признав все силы как интересы, все интересы — как взаимно уравниваемые, все классы — как общественно необходимые, — в нем выступает то, что уже не является ни обществом, ни классом, ни интересом, т. е. чем-то уравнивающим, но, напротив, глубоко революционным: народ. Именно крушение революции слева открывает путь революции справа.

Лишь на краткий период времени одного века история стала без остатка общественным движением, а революция — классовой борьбой. Ибо здесь, на основе общественных интересов, благодаря структуре капиталистической индустрии имелись ясные противоположности, которые гарантировали подлинную диалектику. Здесь имелось Ничто современности и Все будущего; здесь было драматическое напряжение в стремлении к утопической цели; здесь наличествовало историческое желание с расчетом на далекое будущее и на потустороннее истории.

Как нечто само собою разумеющееся и с полным правом эти революционеры XIX века полагали себя создателями правил революции вообще. Где значим тезис, что современный общественный строй целиком является классовой борьбой, там значим и тезис, что история всего прежнего общества представляет собой историю классовых битв. И на таком же законном основании значим следующий тезис: улажи-

вание сегодняшнего классового противостояния является поворотной точкой истории вообще. Всякая революция, таким образом, представляла себя как последнюю революцию на Земле, как последнюю необходимую революцию. По ту сторону порога, каким она признавала самое себя, для нее всегда находилось совсем иное, — рай на Земле, восстановление истоков, гармония мира; естественная гармония либерального хозяйства, которую провозглашала буржуазия; свободное товарищество бесклассового человечества, которое провозглашал борющийся пролетариат.

Подобная утопия присуща революции, как аминь — символу веры. Революционеры с совершенно безошибочной уверенностью знают, с чем они имеют дело в борьбе. Их инстинкт путей, промежуточных целей, противников и мест прорыва никогда не заблуждается и не обманывается. Но они являются наихудшими из мыслимых интерпретаторов для толкования истории в целом или хотя бы описания следующего дня после их действий. Такой жестокий и безрассудный реализм царит в мире истории. Нечто значимое всегда можно увидеть только на узком базисе настоящей и ответственной экзистенции. Лишь носитель воплощенного будущего всегда знает истину о настоящем, а следующую истину знает уже носитель следующей эпохи. Невозможно продлить с помощью линейки линию, проходившую до сего дня и привязать себя к ней. Но, пожалуй, каждая новая действительность привносит собственное знание о себе самой и о Целом. Тот, кто совершает скачок, кто находится впереди, знает, что должно быть, и видит то, что есть.

Поэтому заблуждением и даже подлинным насле-

дием XIX века в наших умах будет, если мы станем мыслить все революции как расколы и движения на основе общественных интересов и не сможем представить себе другого носителя революции, нежели угнетенный общественный класс. Это было справедливо для прошлого века. Тогда история вторглась в индустриальное общество. Здесь она обрела революционную диалектику, которая продолжалась дальше. За революцией третьего сословия вспыхнула революция пролетариата.

Но эти революции слева исторически исчерпаны. Их носители встроены в индустриальное общество. Их оставшиеся проблемы перетолкованы в оставшиеся проблемы социального прогресса. Их мотивы позитивно использованы для оформления современного государства, его социальной политики, парламентаризма, так называемой демократии.

В грядущем будут иметь место классовые битвы, как они происходили всегда. Но они не будут больше диалектическими поворотными точками, их революционеры больше не будут представителями Целого, их исход больше не будет будущим человечества. Закон формирования революции вечен. Но что только классы, которые производственный процесс выделяет в своей нижней точке, могли бы стать революционерами, — это факт лишь XIX века. В то время как вчерашние революционеры стареют, пристально смотрят в старом направлении и *faute de mieux*<sup>1</sup> чтут новые святыни, святыни социального прогресса, на полях сражений буржуазного общества формируется революция справа. Теперь здесь вибрирует накопившаяся сила. Теперь здесь растет великая

<sup>1</sup> За неимением лучшего (франц.).

наивность. Теперь здесь наготове резерв продуктивных инстинктов, служащий предпосылкой и залогом исторического действия. Пока прежняя тема подходит к концу и убывает в мелкобуржуазной социальности, уже образовалась новая волна, катящаяся в своем направлении.

Чтобы спокойно осмыслить захватывающий процесс, в очередной фазе какового мы находимся и который все-таки свершается, проницая нас всей своей потрясающей, накопленной и гонящей вперед силой, нужно сначала представить себе положение, создавшееся благодаря ликвидации революции слева.

Нет ничего бессмысленнее, чем упрекать революционеров XIX века в половинчатости или измене, объявлять их поворот к социальной политике простым соскальзыванием в мелкобуржуазные идеалы рантье и выставлять судьбу их не совершившейся революции исторической неудачей. Напротив, здесь было принято подлинное решение. Смысл этого решения не был таким: дело идет и так; зачем жертвенно придерживаться требований Целого, если можно сравнительно малой ценой добиться умеренной доли?; к чему оставаться вне общества без куска хлеба, если внутри хоть и не роскошь, но тепло? Смысл этого решения был не в том, чтобы иметь синицу в руках, а не журавля в небе. Смысл был и не в отречении, когда цель ничто, а движение — все. И не в обманчивой надежде, что постепенное и мирное встраивание в государство заменит жестокий процесс прогрессирующего обнищания, насильственного ниспровержения власти и диктатуры пролетариата.

Смысл этого решения был гораздо глубже. (И здесь я опять говорю не о том, что желали, чего думали,

в чем состояло намерение, — но о том, что происходило).

Смысл этого решения состоял в том, что этот искусственный мир из механизмов и переплетений интересов, созданный индустриальным обществом, был осознан теми, кто являлся его рабами, как возможное жизненное пространство для людей, и даже как возможное жизненное пространство для народа.

Вопрос был поставлен со всей серьезностью: должен ли индустриальный мир постоянно и навсегда оставаться миром классового господства и отношений эксплуатации, или его можно перетолковать изнутри: как чудовищно мощное оружие новой человечности, как приумножение и одухотворение его естественных сил; итак, положен ли смысл этого мира эпохой его возникновения или свободно определяем во второй попытке.

Несомненно, первые шаги индустриального развития разрушали драгоценные части старого порядка и его человечности. Оно вторгалось в мир деревни, портило устройство городов, обезображивало ландшафт, вредно воздействовало на дом и семью, лишало корней человека, нравы, дух. Но все это не означало ничего окончательного. Выступающая в целом новая техника — всегда помеха для мира старых порядков. Решающий вопрос состоял в следующем: кому будет служить этот величественный инструмент из техники и организационных средств, многим или всем, себе самому или новой жизни? Решающий вопрос был: свершается ли здесь сам по себе непрерывно движущийся рок или же воздвигается мир, который только пока не обрел смысл?

Ставить этот вопрос значило ставить его перед



пролетариатом. В этом отношении рабочие при машинах индустриального общества были действительно триариями, и решения принимались ими.

Пролетариат принял решение, вначале не без колебаний, но вскоре с полной твердостью. Он решил: здесь возникает некий мир.

Это решение было связано с риском. Оно принималось с надеждой и сильнейшим образом обязывало. Индустриальный мир в том виде, как его надо было принять, и в котором надо было обеспечить себе скромное местечко, стал бы на деле чистым предательством по отношению к революционному содержанию XIX века: его ликвидацией в одном лишь негативном смысле слова. Нет: революционеры намеревались сделать выводы из своего решения. Они всерьез восприняли требование, что технике нужно дать нового властителя, если ей суждено быть не роком, но благословением. Они включили в обращение в религию этого мира волю изменить человеческого носителя индустриального мира. Они поставили встречный вопрос: для кого?

Итак, это — вовсе не только звучащее эхом воспоминание о революционном прошлом, не застревание в старой фразеологии и не только тактическая необходимость в отношении натиска радикализма, если и в новом положении, после принципиально осуществившегося включения в индустриальное общество, неустанно говорится о капитализме как о смертельном враге, о долге классовой борьбы, об интернационале пролетариата как историческом фронте.

И все-таки эти слова становятся год от году все менее убедительными, и истина из них улетучивается. Подобно тому как революции не переходят по наследству, их нельзя и законсервировать. И преж-

де всего, их нельзя проводить по частям: каждый раз ровно столько, сколько нужно, чтобы быть в безопасности, а остаток взять для удобного случая на будущее. Революции — это не «развития», не «прогрессы», не «движения». Они являются диалектическими напряжениями, которые заряжаются или перезаряжаются, — и результатом их либо будет история здесь и теперь — либо нет.

Итак, позитивное значение включенного в индустриальное общество пролетариата не таково, что тем самым в систему включается как беспокойство неустанная и никогда не удовлетворенная, стремящаяся к реформам воля; сколь бы эта воля ни понималась как честная и каких бы блестящих успехов она от случая к случаю ни достигала. Все это просто последствие, оно преобразовывает революцию в непрерывные стремления, следовательно, свойственно процессу ее ликвидации. Но, пожалуй, примысливание триариев к фронту индустриального общества вызывает — вопреки намеренному воздействию и даже в противоречии к нему — фундаментальное изменение во внутренней сути системы. Оно освобождает пространство, в котором сосредоточивается новая диалектика, и подводит к этой диалектике все не доведенные до конца напряжения XIX века. Оно способствует образованию нового субъекта под названием «народ». Это означает, что оно способствует тому, что народ из смутной идеи превращается в историческую реальность, из утешения — в опасность, из спокойного порядка — в субъект революции.

Само собой разумеется, это происходит невольно: этого не хотят ни те, кто торжественно провозгласил социальную политику, ни те, кто принимал в ней участие. Вообще революций можно желать лишь

тогда, когда они тут как тут. Лишь тогда налицо белые и красные: решение в пользу революции или борьба против нее. Однако невозможно желать революций в том смысле, чтобы их можно было производить, создавать их носителя или изобретать их диалектическую тему. Революции образуются всегда в тылу современных общественных устройств, в тылу всех их «конструктивных» сил, — и пролетариат, когда образовалась революция справа, тоже давно стал конструктивной силой современного общественного строя.

Итак, пролетариат входит в процесс образования новой революции не со своими формально установленными классовыми интересами, не со своими ставшими программными требованиями человечности, не со своим партийным движением: все это уже нейтрализовано до движущей силы социального прогресса. Но лучшее в пролетариате, его вражда к индустриальному обществу во имя эмансипации человека совершенно не организована его организацией, не приведена в движение его движением. XIX век пробудил эти революционные силы, но никогда не использовал их как революционные силы. Вопрос «для кого?» поставлен, но на него не дан ответ, — не считая половинчатых уступок и скроенных на живую нитку теорий рабочего сотрудничества и экономической демократии.

Запас разрешившейся истории, который привносит пролетариат, не был бы никогда в состоянии как бы сделать вторую попытку и повторить свою не совершившуюся революцию, если бы он не смог проникнуть в новую диалектику, начавшую образовываться на почве созревшего индустриального общества. В этом месте нужно совершенно серьезно

осознать, что революции не передаются по наследству и не повторяются. Революционные энергии XIX века входят в формирующийся в XX веке исторический субъект только как сырье и как запас сил. Они не определяют фронт и волю новой революции, они лишь наделяют ее ударной силой, шириной, глубиной и заботятся, чтобы народ и в этом месте был охвачен до самых низших слоев.

Начинающий свою революцию народ не является всего лишь преемником промышленного пролетариата, с измененным именем, с облагороженным притязанием и с привлечением некоторых других общественных классов, которым *также* плохо при современном хозяйственном порядке. Народ не является каким-либо общественным классом; он повсеместно имеет бесконечные резервы, он повсюду пробуждается, подобно тому как люди могут пробудиться к новому дню. Но народ не является также суммой нескольких классов общества, которые на основе своих интересов объединяются в единое движение. Он представляет собой новое образование, со своими волей и правом. И хотя он и образуется в пространстве индустриального общества, но только так, как в старой почве образуется новый росток. Все силы, какие он в себя впитывает, именно благодаря этому освобождаются от вовлеченности в систему общественных интересов и даже от характера общественных интересов. Революция народа не будет столкновением на почве индустриального общества: она не будет революцией слева. Ведь народ — антипод индустриального общества: единственный, кого история для него приготовила. Он единственный легитимный вопрошающий: для кого? — ибо ответ, который дает он сам, звучит так: для меня. Он — сугубое

Ничто с точки зрения мира общественных интересов, ибо в этом мире его нет; и глубокое Все, если спросить относительно будущего, присущего этой современности.

Ложным путем было бы желать доказать право революции теоретическим анализом взаимоотношений сил. Тем самым революционное свершение сводится до уровня тактического маневра, для которого, правда, становится необходимым тщательное исследование шансов. Его историческое право тем самым ни в коем случае не доказывается. Его основы много глубже, чем того требует теория вероятностей. Впрочем, нельзя измерить Ничто, как нельзя измерить и Все.

Так что мы можем спокойно предоставить аналитику индустриального общества исследовать симптомы закоснения, ритм кризисов, нарастание противодействий и создавать из всего этого формулу имманентного развития этой системы. Если же мы желаем постичь революционное содержание современности, то нужно делать нечто совсем иное. Нужно поставить принцип против принципа: принцип народа против принципа индустриального общества. И вопрос, на чьей стороне право и история, — уже не теория, но сама история.

Принцип индустриального общества мы знаем из его апогея, то есть времени его завершения: когда этот принцип еще боролся, когда он собирал в себе одну за другой современные силы и в самых передовых умах жил как конструктивная идея, обладавшая смелостью, захватывающей дух. Как только старая Германия, с ее непостижимой оценкой природы и духа, была перетолкована в смысле жесткой логики XIX века, все было сведено к экономическим

интересам, все ставилось как технические проблемы и всякая внеэкономическая сила, даже если она была твердая как скала, нейтрализовывалась в экономике, тогда это была действительно сила: тогда время было на стороне принципа индустриального общества.

Техника с хаотической продуктивностью вбрасывала новые средства и силы, и вера, что это так и будет дальше происходить по первому зову, была чем-то само собой разумеющимся для всех современников. Сельские районы и промышленные пригороды с хаотической продуктивностью вводили свободную рабочую силу, и вера в то, что так будет происходить и дальше само собой, была не только верой, но это по всей форме доказывалось наукой. Вначале речь шла о вспомогательных средствах. Важно было то, чтобы их приток функционировал непрерывно: иначе они, конечно, не породили бы никакой связной системы и никакого принципа, согласно которому оформлялось столетие. Но этот принцип был налицо, и он был вполне уверенным в самом себе. Индустриальное общество с первых же дней придало новым средствам принуждения смысл, исходя из суверенитета своего действующего принципа. Оно нетерпеливо внедряло изобретения, стоило им только появиться, в средства производства. Оно распределяло и хладнокровно включало людей, по мере того как их количество прирастало в городе и деревне и они переставали крестьянствовать и заниматься ремеслами, в кадры рабочих и служащих. Тот факт, что приток необходимых вспомогательных средств избыточен, никогда не бывает случайным, но доказывает, что принцип, для реализации которого они необходимы, исторически действителен.

Внутреннее и внешнее развитие индустриальной системы является великолепным следствием из ее начала: здесь поистине нечто становится тем, что оно есть. Классовые интересы пролетариата при первом удобном случае перестают толковаться как классовые интересы; тем самым их революция ликвидируется и система индустриального общества не только спасается, но и завершается; ибо постройка из сплошной промышленности и сплошных общественных интересов запланирована с самого начала.

Но властолюбивый и победоносный принцип не только укрощает революцию, которая некоторое время угрожает ему снизу, но и разлагает середину, которая, подобно острову из прежних времен, сначала сохранялась как крепость, потом по меньшей мере проявляла упрямство. Кто независимо от мировых рынков владеет домом и двором и с самодостаточной умелостью занимается самостоятельным делом традиционным образом, — тот хотя и не враг индустриальной системы, но препятствие и предел для ее единовластия. Изобретательно, множеством способов и окольными путями индустриальное общество воздействует на эту середину. Отчасти оно просто пожирает ее. Где добропорядочные ремесленники, которые населяли и украшали города? Их потомки работают, с образованием или без него, на фабриках и в бюро, не менее зависимы от рынка труда и экономических кризисов и не иначе, чем рабочие, организованы в обладающие классовым сознанием союзы: новый слой индустриального общества, но (так кажется, во всяком случае поначалу) целиком рациональная величина в его уравнении из общественных интересов.

Другие части старой середины деклассируются

до мелкой буржуазии и существуют хотя и самостоятельно, но незначительно, хотя несовременно, но и неисторично, без собственной гордости.

Но весь арсенал боевых средств индустриальное общество направляет на самую крепкую часть старого порядка, которая тверже всего противостоит принципу этого общества: на крестьянина и деревню. После того как патриархальное устройство старой усадьбы распалось и поэтому состоялось первое вторжение в мир деревни, крестьянин и его деревня подвергаются чрезмерным напряжениям индустриального общества и, сами того не замечая и не желая, втягиваются в него. Где независимый и самостоятельный двор, где замкнутая деревня, которая на своей территории — бедно или зажиточно, лениво или деятельно — ведет самодостаточную жизнь? Деревня и город встречаются на рынке, и это старо; но новое в том, что они встречаются на мировом рынке. Крестьянин транспортирует свой урожай колесным транспортом и нуждается в тысячах продуктов индустриального общества; на его поле ничего не растет без химической промышленности. Эти явления, видит Бог, не причина для волнующего стелания: всякий будущий общественный строй, какой не является сугубым упадком, продолжит их и доведет до конца. Но они доказывают, как замыкается сеть индустриального общества, включая и те пространства, что, казалось бы, были для нее непроницаемыми. Но что из крестьянства нельзя индустриализовать таким образом, то, так сказать, бойкотируется индустриальным обществом. Судьбой этой части крестьянства становится чахлость, отчуждение и исторически периферийное положение вырождения.



Понимание того, что крестьянство вечно и находится в основе в основе всей истории, могло бы быть громким и почти истинным словом. Но здесь смысл иной. Напротив: индустриальное общество втягивает крестьянство в собственный исторический принцип, который заключается в росте городов, насколько оно в крестьянстве нуждается, — а остаток в высшей степени негативном смысле выпадает из истории. Города концентрируются в систему индустриального общества. Их провода проходят через деревню. В остальном деревня предоставляется сама себе и изгоняется за лес. И здесь застревает неразрешившаяся история: совсем не так, как в предотвращенной революции промышленного пролетариата, но по-прежнему как бесконечный резерв сил для пробуждающегося народа.

Итак, в какую систему сосредоточивается индустриальное общество, проницая все сферы народной жизни, устраняя все островки старого и ставя все производительные силы на службу своему принципу?

Оно сосредоточивается в то, чем оно было с самого начала: в рациональный, полностью целесообразный механизм из товарных ценностей, квантов труда, средств сообщения и массовых потребностей. Человек не субъект этого мира, но позиция в его расчете: потребитель и рабочая сила. Чем чище проводится принцип, чем полнее ему подчиняются народные силы, тем абстрактнее становится система, тем дальше она отодвигает человека. Уравнения чистой механики могут быть верными лишь тогда, когда состоят только из количеств и когда они совершенно абстрагированы от конкретного субстрата, для коего они значимы.

Прежний народ жил в своем мире благ, как крестьянин на свое наследство. Все вещи были распределены и носили оттенок личного достояния. Владение было конкретным обладанием. Хозяйство представляло собою конкретное движение вещей между владельцами. Тысячи нитей, каждая из которых была ощутима, понятна и крепка, связывали товары с людьми, которые их обрабатывали, использовали, наживали или сохраняли.

Индустриальное общество перерезает всю эту путаницу иррациональных нитей. Что остается от этого, остается в качестве остатка: ведь он не нарушает его принципа. Капитал становится анонимным, и лишь благодаря этому он превращается в перводвигатель. Владение перестает быть телесной связью, но выторговывается на бирже. Система становится самодвижущейся. Не в том смысле, что она уже не нуждается в лихорадочной деятельности людей, в решениях ответственных руководителей, в чутье на успешные новые предприятия; но в том смысле, что она не порождается такой деятельностью, такими решениями и таким чутьем, но сама ставит их как задачи для сил, которые она безжалостно расходует. Целые штабы планируют производство на следующий год. Целые бюрократии работают над управлением действующего предприятия. Времена, когда отдельные предприниматели и ремесленники, основываясь на семейном капитале и исходя из своих крепких родовых домов, вступали между собой в борьбу свободной конкуренции, ушли в прошлое так же глубоко, как и времена гильдий. Над предприятиями, которые прежде действовали как большие личности, простираются абстрактные гигантские структуры концернов и картелей. Свободная борьба за рын-

ки превращается в переговоры за квоты и закрытие фабрик. Система готова и закончена. Она превратила ценности в товары, людей в рабочую силу, жизнь в хозяйство. Само собой разумеется, она также выходит за границы стран и государств. Если человека — а здесь это именно так — представлять себе как общественную рабочую силу и как общественный интерес, то все, что в нем является народом и государством, нейтрализуется. Что все на свете есть общество, — это принцип индустриальной системы, т. е. одновременно ее предпосылка и результат. А в результате ее действия обнаруживается в конце концов и то, что означает общество: абстрагирование жизни от себя самой; ситуация, когда человечность, где бы она ни возматала и чего бы она ни желала, поступает на службу к анонимному капиталу; это рабство, — но такое рабство, которого ищут даже сами рабы и которое возможно постольку, поскольку оно гарантирует свободное преследование их общественных интересов, свободу их скромного эгоизма.

К этому индустриальному обществу *народ* относится как противник. Господствующая система, будучи зрелой и перезрелой, как и для всего, имеет формулу и для этого. Она создала политически нейтральный, осуществленный с помощью собственного права мир труда: сплошь свободные места, которые, будучи достаточно застрахованными, могут дать общественному существу заработок и даже профессию. Народы суть такие массы, которые созданы природой для того, чтобы заполнить систему должностей индустриального мира труда. Создать условия, чтобы сочетание двух множеств, работ и рабочих, происходило по возможности надлежащим образом, — вот рациональная проблема организации, образования и

консультаций. То, что выходит за рамки системы, к сожалению, сейчас не имеет работы. В конечном счете придется позаботиться еще и о том, чтобы народные силы добровольно включились в систему нашего мира труда. Однако об этом уже позаботились. Ибо с каждым рабочим местом, в соответствии с принципом построения системы, связаны социальное положение в классовом обществе и общественный интерес. С этим интересом растет человек, в нем возрастают все те силы в нем, которые не поглощаются трудом, гарантированно и в течение короткого времени. И кто может преследовать интерес, идентичный с личной экзистенцией, тот получает удовлетворение. Он привлечен на сторону индустриального общества; особенно если его еще в этом направлении слегка просветить и дать образование.

Чуть помедленнее: этот расчет дьявольски правилен, но он промахивается мимо *thema probandum*<sup>1</sup>. Он забывает одну мелочь. Он забывает, что здесь кроется революционная диалектика современности. Народ не является терпеливым резервом, из которого можно черпать труд и формировать общество. Народ — это бесконечно многое, и среди прочего также и это: в противном случае построение индустриального общества было бы невозможным. Но как современная действительность и историческая сила, народ представляет собой нечто совсем иное. Это новый принцип, образовавшийся на почве индустриального общества. Индустриальное общество не пробуждается к народу, — оно этого не может. Но в нем пробуждается народ: как субъект революции, для которой оно созрело, завершаясь.

<sup>1</sup> Того, что следует доказать (лат.).

Когда мы говорим о народе (или даже о национальном, — что особенно опасно, так как в этом понятии кроются тысячи неправд индустриального общества, и везде и всюду выглядывает XIX век), то девять десятых работы состоит в обработке исторических реминисценций, которые следует основательно обработать, если должна получиться современность, и прямо-таки со сбросом слоев, которые нужно убрать, чтобы выявить значимое понятие. Говорить о народе — это почти дерзость: смелость веры в то, что эта сущность по имени народ еще очистится в революционном огне, обретя жесткость и новизну.

Нужно пройти по крайней мере через два слоя, прежде чем предстанет этот народ. И самое трудное, что один из двух слоев должен быть устранен полностью, а другой, более глубокий, необходимо, так сказать, расплавить и перекачать в современность.

Первый слой народа — это *нация* (в том смысле, как это слово понимал XIX век, создавая факты). Национацией была имущая и образованная буржуазия, во всей своей широте и со всеми надеждами. Когда она еще возвышалась и боролась, она мыслила национальное государство совершенно иначе по сравнению с тем, чем оно стало потом: как более великогерманское, гораздо более демократичное и менее прусское. Но когда государство удалось сделать хотя бы конституционным и либеральным, буржуазия приложила все силы своего патриотизма к национальному государству и познала в нем отечество и гарантию нации. Того, что даже неимущие и необразованные могли бы полноценно принадлежать к нации, сначала не имели в мыслях наверху и не домогались внизу. Лишь когда рабочий класс врос в социально-политическое государство и его профсоюзы

начали становиться в нем силой, он также стал причастным к нации: он желал этого и стал этим. И для него нация, сколь бы критично ни противостояли ее культу и сколь бы стыдливо ни умалчивали даже об этом наименовании, была формой бытия народа, его историческим осуществлением.

Нация — это народ XIX века. Ее имя дышит гордостью за исторически достигнутое, уверенностью в историческом постоянстве и какой-то волей к мировому значению в отмеренном для этого пространстве. Ощущается сознание бесконечно богатого духовного общественного достояния. Все образование черпается из этого владения, и вера в него обязывает к тому, чтобы верно держаться отчеканенного духовного склада, который оно обрело.

Это понятие народа преодолено в новом положении современности, и поэтому его следует преодолеть и в мышлении. Не потому, что знамя нации использовалось для драпировки общественных интересов; такие злоупотребления очевидны и не обесценивают знамя, но лишь кощунствуют против него. Но, пожалуй, потому что нация — в классическом употреблении XIX века — обозначает некий актив, заверченный род бытия народа, не Ничто, не Все, но ценность, которая, пусть иногда и в качестве сопротивления и противодействия, очень уютно чувствовала себя в мире индустриального общества.

Но под нацией есть еще один слой. Все, кто пророчески противопоставлял идею народа реальности нации и ее государства, продвинулись в этот слой и почерпнули мужество для своих абсолютных требований из вопроса: «чем был бы народ в высшем значении слова»? Здесь они находили изначальные силы истории; установления Абсолютного; духов, очень

близких природе, столь же непостижимо творческих, как и она сама; великое непосредственное наличное бытие, которое воздействует на историю, но не изливается на нее.

Эти предчувствия и провозглашения того, чем является народ прежде всего и в своей глубочайшей сути, остаются верными и не только могут, но и должны войти в новое понятие народа. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы и этот слой не представлял неотъемлемым владением и естественным и само собою разумеющимся существованием. Эта народность (Volkstum) творит нашу плоть и нашу душу. Этот народный дух (Volksgeist) действует подспудно, и там, где индивидуальность с уединенной ответственностью мнит, будто творит она сама. Этот народ есть субстанция нас самих. Что действительность, которая предстает на земле, достойна лежащей в ее основе потенции и незамутненно ее представляет, кажется единственным требованием, которое можно осмысленно ставить; все остальное уже гарантировано. Народ становится чем-то вроде рождественского подарка. Хорошие дети получают его наверняка, так как они желали его; а озорники, собственно, не должны получить ничего, но напоследок и они получают его.

Народ, который в лоне индустриального общества сегодня пробуждается к историческому сознанию, уже не является одной лишь этой неисчерпаемой полнотой духовных природных сил, одним лишь этим широко раскинувшимся, во всем действующим основанием, — тем более не общностью тех, кто обладает внешними и внутренними благами нации. Но он — ударная сила в обнаружившемся свершении, открытый противник системы индустриаль-

ного общества, фронт, — которого, правда, пока нет, но который формируется. Сегодня еще никто не укажет формулу его строения, но его роль в диалектике современности определима. Это смысл, зарождающийся в мире индустриального общества. Народ является живой сердцевиной, вокруг которой впервые объединятся в некий мир средства индустриальной системы, если их удастся покорить.

Везде, где распадаются средние сословия, крестьянство находится под угрозой, уничтожается изолированная самостоятельность, а предприятия бюрократизируются, словом — где вызревает индустриальное общество, в то же время внутри старой и, по-видимому, непрерывно твердеющей скорлупы новые силы сообщаются новому ядру. Что скорлупа вызрела, а ядро обладает взрывной силой, — это лишь две стороны одного и того же процесса. Поскольку здесь действительно (что происходит достаточно редко) образуется новый субъект истории, безусловно запрещено направлять силы, желающие в него влиться, на старые мельницы или желать теоретически постичь их только при помощи формул старого мира. Всякая партия, которая утверждает, будто уже постигла народ, или обещает полноценно представлять его дело, лжет. Она лжет даже очень просто: она обманывает по обыкновению и в надлежащем порядке, придумывая преамбулу для своей программы. Но и средствами прежнего мышления невозможно нормировать образовательный процесс и начинающееся действие народа, когда они происходят. Невозможно вписать в тело становящегося народа его «народный порядок», заранее предопределить его «структуру» или как-нибудь еще предвосхитить его социологию. Все такого рода попытки ориентируются, осознан-



но или нет, на мир труда индустриального общества, переводят его схему без проверки на все прослойки человечества и забывают, что здесь имеется общественно деформированный народ или же только сбалансированное взаимное противодействие общественных интересов. Еще основательнее блуждают в потемках те, кто намеревается проецировать в будущее какую-нибудь отжившую схему в романтически преображенном виде и тем самым комфортно систематизировать становящееся. Будь то сословное государство, будь то идея корпораций, будь то членение на соседские общины, — эти заклинания удручающе слабы, когда их переносят с бумаги в жизнь, они не заклинаят бурные свершения современности, не говоря уже о том, чтобы обнаружить пути будущего.

Все эти попытки с самого начала неверно задуманы. Революционный принцип, присущий определенной эпохе, по сути своей не является структурой, порядком, строением. Но это — чистая сила, чистый прорыв, чистый процесс. Вопрос, в какую форму он сложится, когда будет у цели своего движения, не только неверен, но и малодушен. Ибо речь идет как раз о том, что новый принцип смеет оставаться активным Ничто в диалектике современности, т. е. чистой ударной силой; иначе он сразу встроится в общество и никогда не перейдет к действию. Перед лицом диалектики, каковая выступает в истории, можно и нужно спрашивать лишь о трех вещах: во-первых, о структуре господствующей системы, внутри которой формируется революция; во-вторых, о силах, которые заряжаются у нового противоположного полюса, об их происхождении и о необходимости, с какой они сюда стекаются; и в-третьих, о направлении, присущем этим силам и их революции.

Мы именуем это направление девизом: справа. Понятие правого так же затруднительно, оно столь же обременено XIX веком, и его необходимо полностью освободить от навыков мышления индустриального общества так же, как и понятие народ. Оно означает сначала негативно: народ не является общественным классом, выступающим против эксплуататоров и властителей. Он не сопряжен с обойденным и бесправным интересом, который желает включиться в систему интересов ради больших прав. Его революция — не продолжение революций слева с изменившимся субъектом.

Господствующие сословия, конечно, всегда сопротивлялись революциям слева, своевременно или ответным ударом. При удобном случае они отменяли то, что, казалось бы, уже достигнуто. Они, по меньшей мере, сохраняли неутраченное и укрепляли плотины против прибывающего потопа. Революция приходила слева, реакция — справа. Это само собою разумелось для XIX века, и тогда так оно и было. Революция и реакция встречались на поле общественных интересов и влияли на перегруппировки в системе этих интересов.

Народ не имеет ничего общего ни с этим левым, ни с этим правым. Его революция прорывается снизу на равнину индустриального общества, поперек и сквозь все противоположности его интересов. Народ овладевает миром труда и благ индустриального общества, но никоим образом не перенимает принцип, согласно которому оно построено. Он отрицает этот принцип, делает строительные камни индустриального мира грудой нейтральных средств и тем самым вновь превращает их в мир, сплывая вокруг себя самого: не как абстрактную систему рабочих мест

для своей рабочей силы, не как запасы благ, которые подлежат распределению, не как владение в смысле старой буржуазии, но как пространство для своего исторического наличного бытия.

В отношении этого революционного захвата владения оказываются несостоятельными все категории из сферы общества. Здесь не происходит экспроприации в пользу других владельцев, но происходит освобождение людей и средств от юрисдикции старой системы и изменение их положения согласно высшему принципу. Здесь не разыгрывается конфликт интересов, но здесь — и таково *позитивное* значение лозунга «справа» — здесь *государство* эмансипируется от многовекового подчинения общественным интересам. Государство, бывшее в эпоху индустриального общества всегда лишь объектом борьбы, всегда лишь добычей, в лучшем случае осторожным посредником и третейским судьей, становится свободной сущностью, принимающей в себя революцию справа; задача власти этой сущности впредь состоит в том, чтобы из современности этого прорывающегося народа построить свое историческое будущее.

## ЭМАНСИПАЦИЯ ГОСУДАРСТВА. ЭМАНСИПАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Пока существует индустриальное общество, государство является либо суррогатом, либо счастливым случаем.

Возможно, нередко происходит, что борющиеся интересы довольно точно поддерживают взаимное равновесие. Тогда искусное правительство или в экстремальном счастливом случае великий государственный деятель может противопоставить дворянство буржуазии, крестьянство — городским ремесленникам, буржуазию — пролетариату. И пока общественные интересы сильно сдерживаются или недоверчиво терпят друг друга, во всяком случае их кинетические энергии на время нейтрализуются в состоянии покоя, государство может стать свободным: не только по видимости, но и в действительности; конечно, всегда только в благоприятном случае, когда история предоставляет свободное пространство политическому развитию и когда, будь то в толще нации, будь то во главе государства, налицо та сила, которая вызывает этот порыв.

Счастливые случаи такого рода существуют *вопреки* индустриальному обществу, так сказать, в пустотах его структуры и в мертвых точках взаимодействия его сил. Напротив, если продумать до конца *принцип* индустриального общества, то государство предстанет инструментом, когда же оно действует самостоятельно, оно в лучшем случае служит суррогатом того, что, собственно, есть и должно быть.

Оно приводит общественные интересы в равновесие, творит между ними неустойчивые положения покоя или, по меньшей мере, приглушает столкновение интересов. Оно держит в узде классовые противоположности, которые, будучи непримиримыми как таковые, без узды изнурили бы друг друга в бесплодной борьбе. Это похвально, ибо создает порядок, но с точки зрения строгой идеи индустриального общества это лишь вспомогательное решение. Ведь эта идея потребовала бы, чтобы из сугубо общественных интересов, которые могли бы вступить в игру со своим честным эгоизмом, составилось сбалансированное равновесие; при этом особая власть не должна была бы перевесить на чаше весов. Вполне последовательно и полностью отвечает логике индустриального общества, когда революционеры XIX века выдвигают требование: классовую борьбу нужно продолжать до тех пор, пока не будет иметься непримиримых противоположностей интересов, ибо для их сбалансирования государство ничего не сделало. И столь же последовательно, когда они считают: государство отомрет само, когда революции слева придут к естественному завершению. Тогда мы, проделав путь сквозь необходимые революции, сбалансировали бы классовые противоречия в той же области, где они возникли. Мы бы упорядочили общество как общество. Следовательно, суррогат государства более не был бы нужен. Свободная ассоциация бесклассового человечества была бы, в стиле мышления XIX века, тем конечным состоянием индустриального общества, которое уже не нуждалось бы в государстве.

Но пока для всех общественных интересов, не принявших решение в пользу радикальной классовой

борьбы, суррогат под названием государство чрезвычайно удобен. Если целесообразно использовать его, он может стать прямо-таки остовом индустриального общества и гарантией его постоянства. Конечно, на господствующие общественные классы нельзя обижаться, если они вновь и вновь пытаются использовать в своих целях инструмент государственной власти и создать для своей экономической власти дополнительную политическую власть: пушки, полицию и административный аппарат государства. Моральное возмущение здесь совершенно неуместно: пока все мы мыслим интересами, мы по ту сторону добра и зла. Но пожалуй, против извращений классового государства есть действительно эффективные снадобья: средства демократии. И массы помогают давлению, которое можно использовать для политической власти. Если удастся проникнуть в парламенты, потом в правительства, наконец, в управление, инструмент государства будет постепенно вновь вырван из рук, которые его захватили вначале. И фикция, что государство располагает нейтральной властью над общественными противоречиями, может благодаря упорной работе снизу стать почти истиной.

Ведь борьба общественных классов за государство необходимо представляет собой в то же время борьбу в государстве, борьбу на почве его демократических институтов. И она является даже, осознанно или нет, борьбой *для* государства, — конечно, для государства-суррогата индустриального общества: для создания нейтральной зоны между общественными интересами. Итак, уже не требуется обращения к социальному королевству, которое снисходит до бедняков из народа и объединяется с ними против власти обладания. Но собственными силами, силой собственного

движения низшие классы общества проникают в государство и помогают оформить эту середину, т. е. принять участие в нейтрализации. Государство становится большим зеленым столом, за которым представители общественных интересов могут собраться для переговоров; и оно даже сажает во главе стола формального руководителя переговоров, который делает свое дело для объединения. Сесть за стол переговоров — в высшей степени позитивная мера. Если основательно обсудить все вопросы, самое скверное останется позади, и система будет спасена.

Это не магическое дистанционное воздействие истины, которая сводит в себе противоречащие мнения, и не таинственное рождение разума из дискуссии. Нет, чудо происходит чрезвычайно естественно; оно случилось заранее. Сев за стол переговоров, представители расходящихся интересов уже решились превратить свою соответствующую власть в соответствующее соглашение. Они рассудили, что все они находятся на почве индустриального общества, а также признали нейтральное промежуточное образование государства: не для того, чтобы государство решало их споры (ибо решают они сами), но чтобы оно ратифицировало их компромиссы и удостоверяло их как общий интерес. Это нейтральное промежуточное образование непрерывно растет. Повторяющиеся компромиссы между организованными силами индустриального общества, те формулы единения, которые найдены не только на текущий день, но и на длительные сроки, фиксируются как государственные институты. Что индустриальное общество требует свободы для своего развития, свободы для своих внутренних столкновений, свободы для своих классовых битв и что оно, чтобы быть

совершенно свободным, отсекает часть за частью от конкретного суверенитета государства, — это лишь первая фаза индустриального общества: его воинственное, его либеральное время. Вторая фаза индустриального общества оборонительная и охраняющая. Оно приступает к созданию и укреплению, как всякий успешный принцип. Сюда относится и то, что индустриальное общество придает своей борьбе с государством целиком новое направление. Оно уже не нападает на произвол государства с либеральными требованиями. Оно уже не сопротивляется его злоупотреблениям философскими средствами. Но индустриальное общество завладевает государством и встраивает его в свою систему: как нейтральную срединную зону, которая, не угрожая его собственному принципу, может становиться тем обширнее, чем полнее она нейтрализована и чем мощнее общественные интересы, группирующиеся вокруг этого официального арбитра, организовали свои вооруженные силы.

Вряд ли имеет смысл ставить вопрос, можно ли именовать государством это государство индустриального общества, насколько оно отделилось от «истинного» государства, не стало ли оно, быть может, его полной противоположностью. Государства как постоянной величины вообще не существует. Каждое историческое положение порождает свое государство. Каждый диалектический перелом в истории приносит с собой новое государство. И что исторический принцип победоносно осуществился и овладел своей эпохой, — значит, прежде всего, именно это: он обрел свое государство.

Тем более важно уяснить себе то, чем является государство индустриального общества, — и в каком



смысле оно никогда не может быть государством. В силу проницаемости для исторических изменений государство почти в неограниченной мере способно к переменам. Не только его форма и аппарат, но и его роль в историческом свершении всякий раз иная, и нет почти ничего такого, чем оно не могло бы стать. Но здесь государство пережило, пожалуй, самую грандиозную из своих метаморфоз. Сначала оно становится либеральным, т. е. сделано объектом борьбы, потом его конфисковали господствующие общественные классы, затем оно еще раз стало объектом борьбы и, наконец, оно было пропорционально распределено между борющимися классами. Оно демократизируется, т. е. вручается в общее владение руководящих организаций групп, связанных общими интересами. В той мере, в какой интересы объединяются на их собственной почве, на почве индустриального общества, государство, собственно, становится излишним; но в той же мере оно одновременно наполняется смыслом: ибо все эти единства образуют нейтральную зону, и если они долгосрочны, то они укрепляются, даже становясь государственными институтами. Это государство представляет собой самоорганизацию индустриального общества; это, скорее, продукт его прежних компромиссов и предвидимые рамки для будущих компромиссов. Оно плюралистично, а это значит: все, что в нем является реальной силой решения, есть разнообразие общественных интересов, а что в нем является единством, не есть реальная сила решения. У этого государства нет субъекта: оно основано на множестве хорошо оснащенных, организованных и готовых к бою общественных сил, которые держат равновесие, и оно представляет собой

нейтральную полосу, каковая образуется в их боевых действиях. Это государство не является обязывающим общим сознанием, равно как и неизменной волей. Но оно служит аппаратом для регулирования общественного взаимодействия сил, будучи регулируемым по положению дел; оно является системой мест, занятие которой при достаточной широте колебаний варьируется вместе с изменениями общественного положения власти. Государство является суммой всего, что можно урегулировать на паритетных началах, не сужая принципа индустриального общества. Оно представляет собой сумму всего неполитического.

Революция народа не покорит это государство в том смысле, в каком его прежде вновь и вновь покоряли общественные классы, то один отдельный победоносный класс, то множество договаривающихся классов. Государство не развивается, не обращая внимания на революции, но тонет и всплывает в ином качестве. Если оно остается старым, но лишь в новой отделке, то это веское доказательство того, что в действительности революция вообще не произошла. Революционные силы несут в себе новое государство как субстанцию своей воли. Зачастую они не знают этого, однако делают это. И если они во всеуслышание и принципиально провозглашают враждебность к государству, они всегда имеют в виду лишь то государство, каковое служит оболочкой или инструментом современного общества. Но они несут идею *своего* государства, облаченную в их прямые действия и в их предвосхищающие требования. Всякий прогресс в развитии их революции делает эту идею все более конкретной, наглядной, осознанной. И историческая победа ее принципа состо-

ит в том, что на место старого государства ставится новое.

Поскольку такого рода новое государство является движущей силой и выращенным плодом революционного свершения, т. е. его нельзя измыслить, но можно только осуществить, постольку невозможно создать государство специально для продолжающейся революции или предвосхитить его как программу. Нельзя предсказать его порядок и даже его политический конструктивный принцип, — это может сделать разве что подлинное пророчество; но такие видения вспыхивают рядом с историей лишь случайно и не участвуют в ней.

Напротив, относительно революции справа, пожалуй, можно заранее сказать, какое значение будет в ней иметь государство. Это не предсказание, но свидетельство, основанное на самих фактах. Государство в революции справа действует не только как тайный стимул и тайная цель, не только как будущий порядок, к которому стремится свершение, но оно действует и как реальный фактор в исполнении свершения. Оно образует первую точку приложения для революционных сил, первый этап их исторического действия, линию сосредоточения и развертывания народа, — которую, правда, нужно еще завоевать, так как государством владеют общественные силы. Революция справа протекает через государство, она формируется в нем, и из него она обрушивается на индустриальное общество. Прежде всего это делает ее революцией «справа». Здесь не восстает угнетенный общественный класс, который неосознанно или обдуманно избирает тактику, ведущую через государство. Но здесь внутри системы индустриального общества народ пробуждается к политической жиз-

ни: он становится исторической волей, он становится государством, — и в этой живой и твердой форме он начинает наступление на отживший принцип, владеющий современностью. Это и означает: «справа».

Выходит, что прямо-таки первый необходимый шаг революции справа состоит в том, что она эмансипирует государство: избавляет его от общественных интересов, которые завладели им и сделали его нейтральным обменным пунктом для своих сделок. Эмансипация государства, конечно же, не означает, что наличный аппарат институтов и традиций, конституции, бюрократии и политизированной игры властей будет тщательно отделен от общественно-го материала, к которому он принадлежит, и перемещен в абстрактную свободу. Революционные ситуации всегда построены так, что имеют не один, а два центра. В них диалектически напряжены два принципа, которые для самих себя являются всем, а друг для друга — ничем. Итак, эмансипация государства означает нечто гораздо более веское и сильное, чем когда форма избавляется от своего прежнего содержания. Это означает, что наряду с государством индустриального общества, в противовес ему, во всяком случае, как иное ядро современности, образуется новое государство, а политическая действительность отдаляется от индустриального общества и устремляется к новому государству.

На этом диалектическом пути: не через абстракцию и безмолвное перетолкование, но через противление и революцию государство эмансипируется от общества. Когда народ прорывает систему индустриального общества, общественно наполненное, общественно нейтрализованное государство как бы выворачивается изнутри. В бессубъектность пробивается

напористый, требующий, готовый к действию субъект. Многообразное сосредоточивается в единство ударной силы. В безвольном внезапно возникает политическая воля. В сбалансированном пробуждается жизнь. В неполитическом просыпается история.

Итак, прежде чем новое государство осуществляется как реализованный порядок, оно действует как активная сила. Оно отождествляется с социальной революцией народа. Оно становится главой этой революции: носителем ее ударной силы против принципа индустриального общества.

Это слияние народа с государством в процессе революции справа является не принятым по усмотрению решением, но объективной необходимостью. Политический характер этой революции — не тактический поворот, но ее внутренний закон. Революция народа против индустриального общества не только проходит через государство, но и свершается государством.

Ибо народ рассыпан в классовых скоплениях и организационных оболочках индустриального общества. Не то чтобы он там растворился. Не то чтобы ему там было уютно. Но его пробуждающиеся силы находятся сначала в старом пространстве рассредоточенно и проявляются внутри него во многих местах. Повсюду, где скапливается неразрешившаяся история, повсюду, где люди вспоминают о том, что они — нечто большее, чем общественные интересы, повсюду, где образуется фронт против принципа индустриального общества, народ становится свободным. Но он становится только свободным. И если и высвобожденные силы не держатся в отдалении друг от друга, но стекаются сквозь все искусственные заграждения, то их слияние порождает все же лишь

энергию, а не поток, лишь диалектическое давление, а не историческое действие.

То подземное единство природы и духа, которое составляет субстанцию народа, здесь проявляется подобно приливу. Но народ именно в этом самом нижнем слое является только неисчерпаемой полнотой, только движущим духом, только субстанцией, — но не субъектом. Когда народ противопоставляется распространившейся и укрепившейся системе индустриального общества, он в состоянии поставить решающий вопрос, и он ставит этот вопрос уже в силу своей экзистенции: для кого? Ответ на этот вопрос народ может знать только так, как он понимает свои дела: недоказанно, непоколебимо, инстинктивно. Но он не может привести этот ответ в исполнение.

Для этого народ должен стать трезвым и энергичным. Он должен добавить к глубине, которую имеет в избытке, твердую поверхность, а к единству духа, которое ему неотъемлемо присуще, присовокупить единство близкой цели. Он должен стать политической силой и политической хваткой: государством, проводящим в жизнь дело народа со всей жесткостью, и демократией, впервые означающей здесь не фасад и ложь, но ставший сознательным и исторически действующим народ.

Это то место, где народ становится исключительным (*exklusiv*), — должен стать исключительным, если его революции не суждено быть упущенной прежде, чем она разразится. Исключительным по отношению к националистам настроения, которые довольны уже тогда, когда реют флаги и учащенно бьются сердца. Исключительным по отношению к апологетам банальной реакции, к тем, кто чует поживу и достаточно наивен, чтобы верить, что это де-

ло их прошлого, восстающего из могилы. Исключительным по отношению ко всем националистам, для кого черно-бело-красная крыша государства годится, чтобы устроить свои делишки.

Здесь народ становится чем-то бóльшим, нежели великое непосредственное бытие, из которого зарождаются формы истории, бóльшим, нежели таинственная почва, где все мы укоренены. Здесь народ становится отборной силой и категорическим императивом. Он выстраивается впереди всех поистине революционных сил, во фронт против принципа индустриального общества. Его резервы бесконечны и повсюду достигают самых корней. Ибо повсюду, где в оболочке общества пробуждается народная жизнь, пробуждается также, смутно или ясно, вера в то, чего исторически желает народ. Но сама эта воля похожа на тонкое острие. Оно затачивается о свою историческую задачу. Здесь, где народ, исходя из объективной необходимости, формируется в качестве государства, его силы должны стать не только бодрствующими, но и бдительными, не только натиском воли, но и прицельным ударом, не только резервом, но сражающимся фронтом.

Ибо в революционном единении народа и государства задачи распределены точнейшим образом. Подобно тому как государство только и делает народ дееспособным субъектом, так и народ ставит перед государством обязывающую его задачу. Революционный вопрос, направленный против индустриального общества, вопрос «для кого?» задает народ, он ставит этот вопрос благодаря своему бытию, пробуждению. Государство должно ответить на этот вопрос своим деянием. Если его действия отрываются от этой задачи или его ответ не соответствует направ-

лению вопроса точь-в-точь, то опять вместо истории происходит обман, и обманутым при демократии как всегда, но на сей раз, вероятно, окончательно, оказывается народ.

Насколько сильное сопротивление заинтересованные в индустриальном обществе силы будут оказывать государству народа и в каких местах это сопротивление будет наиболее упорным и хитрым, — об этом уже заранее можно строить различные предположения, как и о том, в каком темпе, на каких путях и окольных путях, с какой необходимой жестокостью и целесообразной бережностью будет действовать государство, чтобы овладеть уже использованными и потенциальными средствами индустриального общества. Но все эти шаги, даже если их можно заранее предвидеть, даже если на них нужно решаться в определенный момент, обозначают лишь путь, — а он, конечно, определяется и исходным положением, промежуточными положениями, инерцией и противодействиями.

Однако независимо от всего этого твердо определена цель, на которую направлено действие государства. Народ, тем более революционный, является не телом, но силовым полем. Государство, тем более действующее революционно, является не кожей, шкурой или панцирем этого тела, но интеграцией такого силового поля в политическую историю. Народ проявляет себя в миллионах импульсов и побуждений: живое пространство, трепещущее во всех своих элементах. Государство представляет собой не что иное, как историческую динамику, в которую складывается это пространство. Оно не иное что, как политически становящийся народ, — но и это уже много. Оно является пробуждением народа



из вневременного бытия к власти над самим собой и к власти во времени.

Старое национальное государство со своенравными границами, с застывшей наличностью имущества и с совместно унаследованной землей, на которой оно находилось подобно стеклянному колпаку, сильно фальсифицировало наше государственное мышление. Государство стало для нас противоположностью революции, противоположностью зарождающемуся будущему, чуть ли не противоположностью жизни. С этим понятием необходимо в корне покончить. Здесь нас интересует государство, которое является сугубо историческим действием и тождественно революционному принципу. Государство, никоим образом не являющееся оболочкой существующего общественного строя, но оснащающее революцию стальным острием против этого общественного строя.

Не только для промежуточного положения революционного действия (это само собой разумеется), но и когда его господство прочно обосновано, это государство будет не чем иным, как сосредоточенной волей народа: не статусом, но напряжением, не плотской формой, но конструктивным образованием из силовых линий. Несомненно: государство вырезает из мира индустриального общества, для которого нет священных границ, замкнутое пространство и предоставляет его народу, как бы в качестве его владения. Но это пространство более не является областью обладания и собственностью, которой управляют, и когда его средства и источники благ социализированы, они не просто сменили собственника. Нет, произошло нечто иное: оживление мертвеца. Вещи оказались переосмысленными как силы, экономи-

ка — как история. Земля, бывшая для индустриального общества любой провинцией, полной добываемых материалов, и системой объектов владения, высвобождается для своего смысла: быть жизненным пространством для народа. На место технических форм мышления, господствующих в индустриальной системе, приходят формы мышления Политического. Жизнь мыслит технически лишь тогда, когда она противостоит мертвому. Но здесь часть земли, вплоть до подземных и надземных энергетических резервов, включается в историческую экзистенцию народа. Для народа не строится дом для проживания: это было бы чрезмерно уютно задумано. Ему не передается в собственность готовая система средств, чтобы применять ее старым способом, только для использования на благо общества. Однако:

Земля сама приносит урожай и полезные ископаемые, над ней распростерлось какое-то особенное небо, на ней дышит совеобразная природа еще до того, как в ее почве запечатлевается вся история народа; теперь же, после того как это произошло, земля тем более освящается единством, она возвратилась к жизни, к которой она принадлежит; как будто бы история вернулась к истоку, и человек и земля еще раз обрели друг друга. Только земля между тем пробудилась: она теперь — не девственный лес и не скудная равнина, но оформленное жизненное пространство, преисполненное духа, многократно приумноженного благодаря технике. Ее природные источники и ископаемые никогда не имели того смысла, чтобы ими обладали, противопоставляя собственность ее отсутствию, которое можно преодолеть. Но и чудовищная техника, которую капиталистическая эпоха вживила в землю, давно уже переросла тот смысл, чтобы на-

бывать прибылью карманы частных собственников. После того как народ созрел для технической жизни (включая крестьянина, работающего с машинами и химией, ремесленника с электрифицированной мастерской, ребенка, растущего в мире техники как в чем-то само собою разумеющемся), преобразился смысл самой техники. Это уже не магическое средство принуждения в руках ее владельцев, но широкий пласт природы, кровеносная система духа и воли, пронизывающая землю и делающая ее единством человеческого мира.

Предпосылка бытия политического субъекта состоит в том, что он свободен в своем жизненном пространстве и что силы этого пространства — силы субъекта: лишь тогда он становится способным принимать исторические решения. Итак, государственный социализм — это не просто смена владельца или обеспечение масс потребительскими товарами, или же новое рабство со ставшим абстрактным властителем. Нет, он означает: силовое поле народа избавляется от разнородных рикошетов индустриального общества, и тем самым народ, господин своего мира, становится политическим субъектом, субъектом своей истории.

Все это уже молча подразумевает то, чем является новое государство. Если вся прежняя политика господствовала над землей, в лучшем случае спланировала ее как область и обороняла ее границы, если вся прежняя политика перерабатывала народ, словно благородный, но несовершеннолетний материал, властно оформляла его, правила им или в лучшем случае воспитывала его, однако в любом случае воздействовала, так сказать, сверху на то и на другое, на народ и его землю как особая инстанция, — то го-

сударство, возглавляющее революцию народа и исходящее из нее как из состояния, будет сущностью народа: сначала концентрированной энергией его удара, потом концентрированной энергией его длительного действия. Силовое поле народа становится свободным, и государство представляет собой интеграцию этого силового поля в политическую историю.

В новом государстве решающим образом изменит смысл как технический аппарат капиталистического хозяйства, так и другое великое изобретение XIX века: *Социальное*. Смысл этой перемены тот же. Социальное станет чем-то само собой разумеющимся, тогда как до сих пор оно было изобретением и достижением. Оно включается в субстанцию народа, или скорее: оно присутствует в ней, не нуждаясь в организации. Оно не «эксплуатируется», но оно встроено.

В государстве индустриального общества Социальное имело ясное значение. Чтобы между общественными интересами была возможна длительная согласованность, они должны признавать нейтральное пространство, в котором человеку обеспечивается то, в чем он нуждается для того, чтобы оставаться человеком. О масштабах и оформлении этого минимума прав и гарантий решение принимает общественное положение власти. Но от однажды завоеванного факта социальной политики вообще нельзя отделаться с помощью реакции. Социальная политика превращается в особую сферу государственной жизни, со своей неизбежностью и внутренними нормами, с особым этосом и особым аппаратом. Она, конечно, является лишь суррогатом народного порядка и человечности, но и этого уже немало. После того как люди в соответствии с логикой индустриального общества полностью подчинились общественно-

му интересу, система должна вернуть гарантированное количество человечности. После того как человек не эмансипировался, ему по меньшей мере должны быть созданы гарантии и страхование. То, что социальная политика гарантирует это, наделяет ее в государстве индустриального общества высшей святостью, делает ее мерой государственного и культурного прогресса и представляет ее прямо-таки воплощением объективной справедливости в борьбе за власть общественных интересов.

В революции народа эмансипация человека происходит всерьез, без искажений и суррогатов. Она происходит так, как она конкретно только и может произойти. Что освобожденный от всех уз и сведенный к абстрактной самостоятельности индивид становится тем самым причастным и свободе, для которой человек рожден, — эта мысль была раньше, в давно прошедшие века, честной и полезной руководящей идеей. Тот, кто сегодня догоняет это знамя, обманывается. Кто несет это знамя впереди, хочет обмануть. И можно весьма точно сказать, в каких лагерях заинтересованные лица идеологий Просвещения чувствуют себя комфортно.

Эмансипация человека произошла не благодаря освобождению крестьян и ремесленников, не благодаря естественному праву и Просвещению, не благодаря буржуазным революциям и конституциям. Напротив: все эти вещи произвели индустриальное общество, т. е. они создали ситуацию, когда воля к эмансипации человека стала необходимой.

Человек свободен тогда, когда он свободен в своем народе, а этот последний свободен в своем пространстве. Человек свободен, когда он находится внутри конкретной общей воли (*Gemeinwille*), которая под

собственную ответственность проводит в жизнь свою историю. Существует ли в действительности такая конкретная общая воля, которая связывает людей и способствует зарождению исторического смысла в их частной экзистенции, — это вопрос, который может разрешиться только реальностью. Само собой разумеется, есть эпохи, когда говорить о государстве как о реальности — всего лишь вымысел, так же как вымыслом является приписывание ему конкретной экзистенции, решающей исторической власти и обязывающей силы. Есть эпохи, когда даже единство государства становится вымыслом, сохраняющимся лишь потому, что иначе положения государственного права не имели бы логического субъекта. Есть эпохи, когда общество — всё, и именно потому государство — ничто.

Но здесь, в революции народа, государство становится самой конкретной реальностью, которую только можно помыслить; оно становится, на сей раз совсем без гегелевщины, «осуществлением свободы». Чтобы в недрах индустриального общества образовался народ, нельзя ни морально требовать, ни вывести логически. Народ, конечно, не является чудесным свершением новой государственности, таинственно возникающим из ничего, но представляет собой внутреннее развитие системы самого индустриального общества. Это великий факт времени: факт, который можно предъявить, как все факты; видимый — подобно тому, как в современности видимо будущее. Структура индустриального общества раздирается, как только каждая отдельная часть народа перестает проводить свой изолированный интерес в капиталистическом духе против всех иных интересов и как только эгоизмы перестают противиться

друг другу честно и гетерогенно. В их общей оппозиции принципу индустриального общества народные силы, там, где они внезапно возникают, смыкаются горизонтально и подспудно. Не раздутая из ничего масса, но живое пространство, сознающее себя единством, становится волей. Дело обстоит так, словно бы глубочайший пласт народа прорывается к дневному свету истории. Он действительно прорывается к свету: это больше не тупая и смутная субстанция, но политический субъект. Он предстает как государство. Лишь в этой самой твердой и конструктивной форме существования народ становится господином себя самого, своего пространства и будущего. Лишь в этой форме сущность, которой свойственно существовать исторически, добывается своего исторического существования.

Именно поэтому социальное теперь более не выделяется в особую категорию: не добавочное встраивание в систему мало совместимых интересов, чтобы по крайней мере уравновесить наихудшие противоречия, не искусственный баланс, поскольку естественный не действует. Остается задача (и притом текущая задача), состоящая в том, чтобы наполнить конструкцию мира народного труда разумом и человечностью, т. е. в числе прочего: защитить то, чему угрожает опасность, обеспечить необеспеченное, устранить излишнее, перебросить бессмысленно расточаемые силы в плодотворные профессии, воздать каждому труду вознаграждение по праву, каждой жизни — свободу действий. Остается задача — не только сосредоточить народ в последнем единстве суверенной решающей власти, т. е. дать ему абстрактную свободу в пространстве его истории, но и обеспечить тысячам его сил свободное действие, ты-

сячам его членов свободное взаимодействие, следовательно, устроить конкретный народный порядок, постоянно оформляя и переоформляя его. Можно именовать это, как прежде, социальной политикой. Но смысл изменился. Смысл заключается теперь не в нейтрализации революционного, но в оздоровлении Целого.

Там, где строят, исходя из общественных интересов, социальная политика является суммой не доведенных до конца битв за власть и включенных вентилей, а ее справедливостью был и остается компромисс. Где единство народа предзадано, социальная политика является не чем иным, кроме как осознанным исполнением внутреннего закона, по которому это единство построено, следовательно, справедливость социальной политики имеет внутреннюю норму. Живое Целое имеется, когда вопреки давлению неправильного общественного устройства осуществлен прорыв к свободе, и когда и для повседневности есть форма, соответствующая новой жизни. Общая воля есть тогда, когда она осознала себя и ответственно взяла историю в свои руки и когда ее основание состоит в том, что она организует народ, в котором коренится. Первое и единственно важное заключается в эмансипации человека. Образование государственной воли простирается над всем пространством и проникает во всех людей. Из всех слоев народа образование государственной воли собирает воедино силы воли, которые освободились из индустриального общества, и их неразрешившаяся история разрешается плодом. Что такое теперь особые интересы отдельных общественных групп? Что такое теперь старые противоположности между капиталом и трудом, буржуазией и пролета-



риатом? Это больше не нить, на которой мышление поневоле и в мономании мыслит; не неизменно заготовленный строевой лес, из которого кое-как необходимо построить равновесие, пусть и кажущееся. Но это либо исчерпанные проблемы, отжившие вместе с прошлым веком, либо внутренние дела Целого, которое жизненно заинтересовано в том, чтобы пронизать свой общественный порядок разумом, но которое как единство полностью установлено, поскольку представляет исторический принцип будущего для всех. Революция справа повсеместно пронизает общественные интересы. Она возвращается к человеку. Она эмансипирует его: не абстрактно-юридически, но конкретно-политически. Она воспринимает его в той воле, где он свободен: в историческом фронте народа.

Политические события и политические образования не находятся в безвоздушном пространстве и не меняются, превращаясь друг в друга, в силу какой-то самодеятельной диалектики, подобно чистым понятиям. Но они являются структурами, состоящими из человеческого бытия и деяния, и их изменения — это изменения человеческой субстанции, из которой они возникают. История происходит в воле людей. Что происходит вне воли, происходит ниже воли, а значит, тем более в людях, а именно в их душах и плоти. Здесь застрял общественный строй, здесь возникает государство, здесь образуются исторические фронты, здесь готовится революция.

И политическое движение современности является не чем иным, как тайным перераспределением в материале человечества. XIX век миновал лишь потому, что существуют люди, являющиеся XX веком. Принцип индустриального общества стал недей-

ствительным только потому, что есть люди, которые уже не определяются его общественными интересами. Стали действительными некоторые новые факты применительно к человеку. Можно даже не обладать и все-таки не желать. Можно и без злопамятности быть революционным. Можно иметь глубокие корни и тем не менее весьма уютно чувствовать себя в конструктивном мире техники и социальной организации. Чтобы быть радикальным, не обязательно быть нигилистом. Современность уже не является компромиссом, а будущность уже не является утопией, но они совпадают, как во все эпохи, когда что-то действительно происходит. Все эти факты внове, но это факты. Еще поколение назад такие люди были обречены на изолированное существование, на тайное взаимопонимание и на почетное, но негативное дело критики культуры. Сегодня они представляют значимый тип и будущее целого. Стал реальностью народ как противник индустриального общества: пока не готовый порядок, не осознанная всеобщая воля, но крепко завязавшееся ядро.

Это метафора, когда говорят о том, что на почве истории «формируются фронты». Истина этого образа в том, что люди освобождаются от власти старых порядков и созревают для новой экзистенции. В современности происходит не что иное, как то, что индустриальное общество утрачивает в людях свои предпосылки. Именно поэтому революция справа является чем-то большим, чем симптом кризиса и преходящее беспокойство умов, большим, чем возмущение и спад всех отдельных волн, в которых она проявляется, чем движение к власти в старой системе. Именно поэтому революция справа — это содержание эпохи.



А. Ф. ФИЛИПPOB

## ХАНС ФРАЙЕР: СОЦИОЛОГИЯ РАДИКАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА

### I

Ханс Фрайер родился в 1887 г. в Лейпциге, с которым была связана и большая часть его жизни: учеба в университете, защита двух диссертаций, профессура. Поначалу он хотел стать богословом, затем его интересы сместились к философии. Уже до первой мировой войны Фрейер был заметной, хотя и не лидирующей фигурой в немецком *Jugendbewegung*, движении молодежи, которое сыграло значительную роль в истории Германии. Он принадлежал к той же самой ветви этого движения *Freideutsche Jugend* (Свободная немецкая молодежь), что и, например, Мартин Хайдеггер и Рудольф Карнап и, наряду с последним, входил в так называемый *Serakreis*, круг Евгения Дидерихса. Дидерихс, знаменитый издатель, был энтузиастом антибуржуазного культурного творчества. *Serakreis* был задуман, собственно, для возрождения германской традиции отмечать коллективными плясками день солнцеворота. Проблема музыкального воспитания и социальные перспективы музыки долго занимали Фрайера. Но и для него, и для большинства участников *Serakreis*'а дело было все-таки не в танцах и не в солярном культе древних<sup>1</sup>. Молодежь Германии жаждала общности, не рационального,

<sup>1</sup> Не Дидерихс, отмечает Дж. Маллер, оказал основное интел-

рассудочного, взаимовыгодного общения-общества (Gesellschaft), но теплой, эмоционально насыщенной общности-общины (Gemeinschaft)<sup>2</sup>. Многим в те годы казалось, что движение молодежи с его культурно-историческими мероприятиями (самое известное из них — это слет молодежи на Высоком Мейснере в 1913 г., собравший тысячи человек) и есть та самая новая общность<sup>3</sup>. Так считал и Фрайер, и это убеждение в возможности нового культурно-политического единства сохранилось у него надолго. Биографы не забывают отметить важную поездку Фрайера в Берлин — не только перед самой войной, но и на излете столичной карьеры Георга Зимме-

лектуальное влияние на Фрайера перед Первой мировой войной. Но он был его «ментором за стенами университета», издателем двух его ранних книг. Именно благодаря Дидерихсу Фрайер уже после войны выпустил во влиятельном журнале «Die Tat» рецензию на первый том «Заката Европы» Шпенглера, то есть оказался в одном ряду с самыми заметными авторами своего времени. См.: *Muller Jerry Z. The Other God that Failed: Hans Freyer and the Deradicalization of German Conservatism. Princeton: Princeton University Press, 1988. P. 32.*

<sup>2</sup> Противопоставление общества общности стало в Германии очень популярным, в частности, благодаря книге социолога Ф. Тенниса «Общность и общество». Труды Тенниса оказали значительное влияние на Фрайера. См.: *Теннис Ф. Общность и общество / Пер. Д. В. Складнева. СПб.: Владимир Даль, 2002.* Значение Тенниса Фрайер подчеркивал и в середине 30-х гг. Написанный Фрайером некролог Тенниса очень показателен в связи с конфликтной ситуацией в Немецком обществе социологов, о которой мы скажем ниже. См.: *Freyer H. Ferdinand Tönnies und seine Stellung in der deutschen Soziologie // Weltwirtschaftliches Archiv. 1936. Bd. 44, II. S. 1—9.*

<sup>3</sup> Через треть века Дидерихс вспоминал: половина участников наших празднеств полегла на полях сражений (Первой) мировой войны, но оставшиеся до сих пор ощущают себя одной общностью. См.: *Diederichs E. Aus meinem Leben. Jena: Diederichs, 1938. S. 41.* См. также: *Muller J. Z. Op. cit. P. 33 ff.*

ля<sup>4</sup>. Фрайер посещал все его лекции, несколько раз бывал у него дома и находился под впечатлением рассуждений Зиммеля о кризисе культуры и философии жизни. Он собирался защищать у него вторую диссертацию, но этим намерениям помешала война. Фрайер воевал, был тяжело ранен и награжден орденами. Смертельно больной Зиммель еще успел с похвалой отозваться на первую послевоенную книжку Фрайера «Антей»<sup>5</sup>. В начале 20-х гг. Фрайер выпустил несколько значительных книг<sup>6</sup> и в 1925 г. стал первым профессором социологии в Германии. Не то чтобы раньше в Германии не было профессуры по социологии, но относились к этой науке с большим сомнением, и всякий раз название социологической кафедры было сложносоставным: «кафедра социологии и еще чего-то». Фрайер был первым немецким профессором социологии как таковой, но работы, которые мы сегодня могли бы назвать социологическими, появились у него не сразу. Его привлекала в то время не только общая проблематика социальной науки и политической философии, но и новая дисциплина, которая начала формироваться в Германии: философская антропология, возникавшая в резуль-

<sup>4</sup> В 1913 г. Зиммель, всю жизнь преподававший в Берлине сначала в качестве приват-доцента, а потом и экстраординарного профессора университета, получил профессорское место в Страсбурге, где и умер вскоре после окончания войны.

<sup>5</sup> *Freyer H. Anthäus*. Jena: Diederichs, 1918. Отзыв Зиммеля напечатан на обложке издания. Сама же книга представляет собой письма с фронта участникам *Serakreis'a*, которые свел и отредактировал его издатель Дидерихс.

<sup>6</sup> Прежде всего, это «Прометей. Идеи к философии культуры» и «Теория объективного духа». См.: *Freyer H. Prometheus. Ideen zur Philosophie der Kultur*. Jena: Diederichs, 1923; *Theorie des objektiven Geistes*. Leipzig—Berlin: Teubner, 1923.

тате переосмысления философами новейших открытий в биологии в связи с психологией, социологией и рядом других дисциплин. Первооткрывателем здесь считается Макс Шелер<sup>7</sup>, однако Фрайер сформулировал ряд важных идей новой философской антропологии (хотя и вне прямой связи с биологическими новациями) уже в середине 20-х гг.<sup>8</sup> Его кафедра становится ядром так называемой «Лейпцигской школы», к которой принадлежали известные антропологи, в том числе Арнольд Гелен, которого часто называют учеником Фрайера, и ученик обоих философов, в будущем крупнейший немецкий социолог Хельмут Шельски. Социологические книги Фрайер написал в начале тридцатых годов: обширный труд «Социология как наука о действительности» и краткое «Введение в социологию»<sup>9</sup>. Одновременно с этой последней и выходит «Революция справа».

В конце 20-х — начале 30-х гг. Фрайер — отчетливо консервативный мыслитель, но его консерватизм нацелен не в прошлое, а в будущее. Он не охранительный, а революционный, не оберегающий, но радикальный. Такое умонастроение было распространено в те годы в Германии, его называли «консервативной революцией». «Консервативные революционеры» не образовывали внятного единства, не пользовались этим термином для непременно-го самоназвания. Те, кто называл себя так в то время, и те, кого причисляют к этому движению сегод-

<sup>7</sup> См.: Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. С. 31—95.

<sup>8</sup> Freyer H. Der Staat. Leipzig: Fritz Rechtsfelden, 1925.

<sup>9</sup> См.: Freyer H. Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft. Leipzig—Berlin: Teubner, 1930; Idem. Einleitung in die Soziologie. Leipzig: Quelle & Meyer, 1931.

нышние историки, — далеко не всегда одни и те же лица. Впрочем, общее у них было. Консервативные революционеры — это те, кто настроен против капитализма и либерализма, но также и против интернационалистского социализма, кто придает большое значение таким категориям, как «народ» и «народный дух», кто ставит государство выше общества. Для многих из них характерна чувствительность к таким категориям, как «техника» и «план», обостренное внимание к проблематике модерна, современной социальной жизни и современной культуры. В веймарской Германии консервативные революционеры не сливались с нацистами, но считается, что они «расчистили дорогу нацизму» в духовно-политической сфере. После 1933 г. их судьбы сложились по-разному. Некоторые приняли нацизм с энтузиазмом, другие — более сдержанно, а кое-кто и вовсе негативно. Но, пожалуй, ни у кого отношения с новой властью не сложились совсем уж безоблачно. Фрайер вначале был близок к нацистам, он принимал активное участие в том, что тогда называлось *Gleichschaltung* — «подсоединением», то есть включением всех, в том числе и непартийных слоев, в общее дело и общую идеологию режима. Фрайер не стал вступать в партию, но подписал известное коллективное письмо немецкой профессуры с выражением поддержки Гитлеру и национал-социалистическому государству. В первые годы нацизма его карьера пошла вверх. В 1933 г. статус его кафедры был повышен, ее преобразовали в кафедру политических наук и включили в Институт истории культуры и всеобщей истории, директором которого стал Фрайер, в этом же году он возглавил «Немецкое социологическое общество». История о том, как Фрайер был его «вождем»,



до сих пор кажется несколько туманной. В правление общества Фрайер входил с 1928 г. Возглавлял же общество бессменно почти четверть века один из его основателей, Фердинанд Теннис, который нацистов не любил и этого не скрывал. Нацисты, конечно, не хотели терпеть его на посту президента, притом что и вообще социология была режиму неужодна. Считается, что именно под давлением новых властей Тенниса сместили, а Фрайера избрали. И уже через год организация прекратила существование. Ее не распустили, не запретили. Фрайер, как говорят немцы, *hat sie stillgelegt*: он ее *усыпил*. Что это было? Существует точка зрения, согласно которой Фрайер спустил дело на тормозах и тем самым спас науку от явного разгрома<sup>10</sup>. Однако большинство историков социологии согласны в другом: Фрайер стремился сделать социологию политически приемлемой и полезной «новой Германии»<sup>11</sup>. Перестроить професси-

<sup>10</sup> См.: *Schelsky H.* Die Rückblicke eines «Anti-Soziologen». Op-laden: Westdeutscher Verlag, 1981. Шельски, многим обязанный Фрайеру, сам в юные годы нацист, конечно, пристрастен. Однако за ним то преимущество, что он знал ситуацию *изнутри*. Во всяком случае, его утверждения, что Немецкое социологическое общество в 30-е гг. переживало не лучшие времена, что старый билитет не давал дорогу молодой профессуре (например, К. Мангейму), а потому бунт против старого и желание нового нельзя объяснять одним лишь сервилизмом по отношению к властям, — это утверждение не лишено резонанса.

<sup>11</sup> См., напр.: *Rammstedt O.* Deutsche Soziologie 1933—1945. Die Normalität einer Anpassung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986. Рамштедт считает, что нет оснований разделять научные и политические сочинения Фрайера. По его мнению, Фрайер сохранял и свои убеждения, и кредит доверия у режима до конца войны. Социологию он хотел превратить в «немецкую науку», а Общество социологов инкорпорировать в печально известную Академию немецкого права, возглавлявшуюся Х. Франком (Op. cit.,

ональную ассоциацию не удалось, да вскоре и нужда в ней отпала. «Немецкая социология» как большой проект в годы нацизма не состоялась. Правда, поначалу все выглядело иначе. Фрайер основал новый журнал «Volksspiegel. Zeitschrift für deutsche Soziologie und Volkswissenschaft» («Зеркало народа. Журнал немецкой социологии и народного хозяйства»), новую книжную серию по политической философии, вошел в комитет основателей «Академии немецкого права». Но скоро все закончилось. От издания журнала он отошел, в книжной серии вышло только две книги, в нацистских изданиях он не печатался, и фигура его у наиболее ревностных деятелей режима вызывала серьезные сомнения. С ним произошло то же, что и со многими радикальными консерваторами: сравнительно короткий период энтузиазма сменился разочарованием, а слишком умные попутчики стали раздражать окрепшую власть. Фрайер хотел радикального преобразования, он приветствовал «великую национал-социалистическую революцию». Но революционная риторика нацистов скоро уступила место риторике *осуществившегося* единения народа, идеология революции стала нетерпимой. Лояльность и поддержка — этого было теперь слишком мало<sup>12</sup>. Некоторое время он публиковал труды, в ко-

S. 18—19). Историю о том, что Фрайер был компромиссным кандидатом, излагает Х. Делитц. См.: [http://www.bautz.de/bbkl/f/freyer\\_h.shtml](http://www.bautz.de/bbkl/f/freyer_h.shtml).

<sup>12</sup> Работы Фрайера, написанные до переворота, казались уже релятивистскими. Даже книга о консервативной революции была раскритикована как «марксистская». См.: *Sieferle R. P.* Die Konservative Revolution. Frankfurt a. M.: Fischer, 1995. S. 195; *Üner E.* Der Einbruch des Lebens in die Geschichte Kultur- und Sozialtheorie der «Leipziger Schule» zwischen 1940 und 1945 // Lehmann H., Oexle H. G. (Hrsg.) Nationalsozialismus in den Kultur-

торых не только продолжал, но и продуктивно развивал ряд тем, занимавших его еще до установления новых порядков. Нельзя сказать: «как ни в чем не бывало», — однако сочинения Фрайера в эти годы не носят ни характера апологетики, ни характера актуальной критики. Позже, подобно некоторым другим немецким философам, он пытался что-то сделать для повышения идеологической вменяемости режима. Подобно Карлу Шмиту, он писал историко-философские работы — о Макиавелли, о Фридрихе Великом<sup>13</sup>, — в которых осторожно, но внятно рисовал совсем другой вид политического руководства, чем тот, что утвердился в Германии. В 1938 г. Фрайер уехал из Германии — не эмигрантом, разумеется, а приглашенным профессором в Будапешт, в союзную Венгрию. Затем до 1944 г. он руководил там же Немецким научным институтом. Конечно, и это была, как мы бы сказали, вполне номенклатурная должность. Задача института заключалась по преимуществу не в научных исследованиях. Это учреждение при немецком посольстве занималось установлением культурных и научных связей. Впрочем, важными задачами были также идеологическое воздействие на венгерских немцев, а позже — и мобилизация их для помощи рейху. В этой части оценки

wissenschaften. Bd. 1. Göttingen, 2004. S. 231; *Fröhlich H.* Hans Freyer. Leipziger Gesellschaftswissenschaftler und Kulturdiplomate in Südosteuropa. Ms. Leipzig, 2005 (<http://www.cultiv.net/cultranet/1116499157HansFreyer.pdf>). Рамштедт также считает, что революционные романтики-интеллектуалы не были нужны нацистам на ведущих позициях, когда период «бури и натиска» завершился.

<sup>13</sup> См.: *Freyer H.* Preußentum und Aufklärung und andere Studien zu Ethik und Politik / Hrsgg. U. kommentiert von E. Üner. Weinheim: Acta Humaniora, VCH, 1986.; *Freyer H.* Machiavelli. Weinheim: Acta Humaniora, VCH, 1986.

деятельности Фрайера по-прежнему очень противоречивы. Бесспорно, для нацистов было очень важно предстать вовне в качестве солидных правителей, использовать если не во всем мире, то хотя бы в союзнических странах традиционную симпатию и уважение к немецкой науке, нейтрализовать эмигрантскую критику. В свете этого деятельность Фрайера, организовывавшего визиты немецких ученых для чтения лекций в Будапеште (а среди них были К. фон Вайцзеккер, Г.-Г. Гадамер, К. Шмитт), выглядит двусмысленно. После войны, когда один из его знаменитых визитеров, Шмитт, был интернирован и неоднократно допрошен в Нюрнберге, среди прочих деяний, которые американский дознаватель пытался вменить ему в вину, были и поездки с лекциями в Испанию и Венгрию, нацеленные на улучшение образа Германии за границей<sup>14</sup>.

О политической составляющей деятельности Фрайера в это время надо писать отдельно, слишком многое изучено пока плохо, актуальность прошлого только возрастает в наши дни, и оценки его слишком разнятся, чтобы казаться взвешенными и безупречными. В научном отношении время, проведенное в Венгрии, было для Фрайера продуктивным. Именно в Венгрии было написано большое исследование о Фридрихе Великом «Пруссачество и просвещение» и огромная «Всемирная история Европы», вышедшая в свет уже после войны<sup>15</sup>. Первые послевоенные годы Фрайер провел в Лейпциге, где рек-

<sup>14</sup> См.: *Bendersky J. W. Carl Schmitt's Path to Nuremberg: A Sixty-Year Reassessment* // *Telos*. Summer 2007. N 139. P. 6—34 (27—28).

<sup>15</sup> См.: *Freyer H. Weltgeschichte Europas*. Wiesbaden: Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, 1948.

тором университета в те годы был Гадамер, однако в 1947 г. после идеологических нападков, инициированных Д. Лукачем, Фрайер был уволен. Сотрудничество с нацистами ему не забыли, он больше не получил кафедры в Германии, однако по отношению к нему, как и ряду других уволенных профессоров, было найдено компромиссное решение: пенсия и статус «отставного профессора». Впрочем, приглашенным профессором он все-таки был — в нескольких странах. Написано в послевоенные годы было сравнительно немного, но это работы очень важные — по социологии культуры и теории индустриального общества, а также по социологии техники. Самая значительная из них, «Теория современной эпохи», вышла в свет в середине 50-х гг. Фрейер умер в 1969 г., а в 1970 г. Арнольд Гелен выпустил его «Мысли об индустриальном обществе», куда вошла первая глава незавершенного труда «Теория индустриального общества».

В конце 80-х — начале 90-х гг. прошлого века интерес к Фрайеру несколько возрос, вышло несколько книг с его работами и работы о нем. Мюнхенская исследовательница Эльфрида Инер (Üner) употребила много усилий для того, чтобы показать непрерывность в творчестве Фрайера. Гелен хотел разделить интеллектуальную биографию Фрайера на три периода: от раннего интереса к экзистенциалистской проблематике общей ситуации человека Фрайер перешел к социологическим исследованиям структуры общества, а в позднейшее время занялся проблемами техники и индустриального общества. Инер утверждала, что это не так, что поздние рассуждения Фрайера берут начало в ранних трудах, а ранняя проблематика не исчезает и впоследствии. Под-

тверждением этого стала серия публикаций, в которой были переизданы работы Фрайера разных лет. Однако даже в эпоху «полных собраний сочинений», которая началась в Германии в последней четверти прошлого века, большинство важнейших трудов Фрайера заново так и не издали. Имя его не забыто, но популярности, сопоставимой с посмертной славой Шмитта, Юнгера или Гелена (если говорить лишь о «консерваторах»), Фрайер не удостоился. Он остается скорее исторической фигурой, а не фигурой актуальной дискуссии. Возможно, впрочем, что его время еще придет. А пока что его надо читать, чтобы лучше понимать немецкую социальную мысль в ее движении на протяжении почти полувека, начиная с 1918 г.

## II

Если мы очень условно и очень грубо разделим консерватизм на два главных типа, то можно будет сказать, что консерваторы собираются либо нечто сохранить, либо нечто восстановить. Охранительный и восстановительный (реститутивный) консерватизмы очень несходны. Первый предполагает инертность, умеренность, он может быть, конечно, и активным, но только в качестве реакции. Второй по определению радикален. Если необходимо *вернуться* к изначальному, это может оказаться революционным действием. Основная интуиция молодого Фрайера именно реститутивная, речь у него идет о восстановлении некоторой высшей целостности, нарушенной в новейшее время<sup>16</sup>. Необходимо восстановить связь

<sup>16</sup> См.: *Fellmann F. Gelebte Philosophie in Deutschland: Denk-*

людей между собой, с порядком и строем мира. Это возможно только через активное деяние, творчество и борьбу. В книге «Антея» говорится о связи человека с землей, с «почвой», т. е. с культурной традицией народа, который обретает себя как единство, только отказавшись от универсалистской этики, абстрактных головных принципов, и обратившись к своей традиции. Народ как Антея, сильного связью с землей, отрывают от почвы — и тем лишают сил — современная техника и экономика, которые подчиняют людей своим собственным закономерностям и принципам. Противостоять этому можно только революционным усилием, которое — хотя и угрожает подорвать традицию — оправдано жизненным творчеством. В книге «Прометей» именно этому новому уделено основное внимание. Фрайера одушевляет «надежда, что возникнет нечто величественное, если эта страна соборов и музыки направит на более прямые, нежели прежде, пути свои созидательные дарования, свое богатство — людей и идеи, свою способность к внутренним переменам, — если она запечатлеет на материале нашей планеты глубинную и неисчерпаемую оригинальность своего духа и, став господином собственной своей полноты, построит царство свое не в идее, но на земле»<sup>17</sup>. Человек есть «вечная субстанция и абсолютная ценность», и через отнесение к *этой* ценности можно преодолеть реля-

formen der Lebensweltphänomenologie und der kritischen Theorie. Freiburg-München: Alber, 1983.

<sup>17</sup> Freyer H. Prometheus. S. 6—7. Немецкое «das Reich» переводится на русский по-разному: и как «царство», и как «империя», и просто как «рейх». В большинстве случаев мы будем переводить термин Фрайера как «рейх», и говорим о «царстве» только там, где это предполагается устойчивой русской терминологией.

тивизм истории с ее бесконечной сменой форм социальной жизни<sup>18</sup>. Именно это творчество нового означает для человека восстановление связи с природой через движение вперед, а не простое возвращение. Сквозной для «Прометея» является идея построения «нового царства» на земле из «полноты духа». Начало ему должно быть положено небольшой общностью, неким предощущаемым, но не определяемым «мы», о котором все время говорит Фрайер. Однако же царства не строятся без насилия и власти. Ценности осуществляются в истории активным политическим деянием. Об этом Фрайер пишет во многих работах 20-х гг. Мы остановимся лишь на одной из них, книге «Государство».

Рассуждения здесь начинаются с категории «жизнь», но понятие жизни берется более конкретно и определено, чем у тех старших современников Фрайера, которые видели в ней первичную реальность, фундаментальную, но плохо определяемую основу всех явлений. «Жизнь, — пишет Фрайер, — живет в своем собственном мире. Ее органы и ее сопротивления, ее чувства и ее объекты, ее функции и ее вспомогательные средства соположены друг другу, как радиус и окружность круга. Возникает видящий глаз — и вместе с ним возникает видимый им предмет; глаз формируется и упражняется для видения предмета. ...Внутри своего мира растет и простирается живое тело. Вокруг своего субъекта формируется сфера проживаемой действительности. Так два гештальта — «мир» и «организм» — образуются один

<sup>18</sup> См.: Ibid. S. 49 ff. Отнесение к ценности — известная формула неокантианской философии и неокантианской социологии М. Вебера.



относительно другого, один для другого, один применительно к другому»<sup>19</sup>. Получается, что Фрайер, собственно, описывает не вообще жизнь, но организм, существующий в *окружающем мире* (Umwelt), если воспользоваться терминологией теоретической биологии Я. фон Икскуля, которая была усвоена немецкой философской антропологией. Абстрактная логика философии жизни конкретизируется через логику жизни-как-организма. Организм, говорит Фрайер, не только живет в мире, но и развивается в нем, и это развитие не есть простой набор изменений и реакций, но целостная временная, расчлененная на фазы структура — «гештальт». Жизнь находит в мире свою судьбу. «Воздействия мира переводятся в судьбы живого существа. Событийный ряд, который мы называем судьбою, есть, как и развитие, гештальт во времени, который имеет свой смысл, поддающийся истолкованию, хотя часто и глубоко сокрытый»<sup>20</sup>. Развитие (ряд событий сущностного развертывания жизни) сплетено с судьбой (рядом ответов жизни на вызовы мира). По известной формуле, в жизни должно возникнуть нечто большее, чем жизнь<sup>21</sup>. Это нечто Фрайер называет «духом», подчеркивая его невыводимость из жизни; лишь впоследствии, говорит он, дух можно понять как ее преодоление. Процесс возникновения духа именуется «теоретическим поворотом» жизни. Саморефлексия жизни означает способность сдерживать движения воли, разводить прежде нераздельные полюса «организм» и «мир» и созда-

<sup>19</sup> Freyer H. Der Staat. S. 5.

<sup>20</sup> Ibid. S. 6.

<sup>21</sup> «Жизнь — больше жизни — больше чем жизнь» — формула Георга Зиммеля. См.: *Simmel G. Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel*. Berlin: Duncker & Humblot, 1918.

вать новые комбинации «организма» и «мира» путем самосознательного действия.

Дух, говорит Фрайер, много богаче «теоретического поворота» жизни, он порождается в ходе этого поворота, но зато потом он своим «чудом осмысления» затрагивает всю жизнь, являя собой и организм, и развитие, и судьбу. Духу свойственны процесс, ритм и цель — иначе говоря, закон следования стадий, т. е. *временной геиштальт*. Целью духа Фрайер объявляет государство. Однако фатализма здесь нет, цель может быть не достигнута. В этой связи Фрайер противопоставляет творчество деянию. Творчество, говорит он, есть самоотдача. В творчестве жизнь отдает себя миру, «земле»; таким образом и создается новая среда, форма сотворенного произведения. Творчество приводит к гармонии человечество и «землю», а из такого воссоединения рождается культура — «целое форм». Теоретический поворот жизни приводит ее к замыканию на себя, к саморефлексии, дистанцированию от мира, а творчество стремится снять эту обособленность жизни. И потому творчество — это страдание и страсть. В строгом смысле слова, «творимые» произведения «захватывают творческую душу превосходящей силой. Они апеллируют не к активности человека, но к его способности страсти»<sup>22</sup>. Человек самозабвенно *созидает культуру как пространство своей судьбы*. В этой триединой формуле, говорит Фрайер, можно акцентировать «пространство судьбы». Тогда мы получим «веру». Если подчеркнуть то, что оно «*творится*», придем к «*стилю*». Если выделим то, что оно «свое собственное», то будем говорить уже о «государстве».

<sup>22</sup> Freyer H. Der Staat. S. 215.

Все три момента суть способы целедостижения духа, который всюду вполне достигает своей цели. Но в первых двух случаях речь идет о смысле, который, как хорошо было известно в Германии со времен Р. Г. Лотце, не действителен, но *значим*. В государстве же смысл становится реальностью. «Жизнь, непричастная духу, была бы только деятельна, она бы лишь действовала, но не совершала деяний. Однако в человеческой жизни произрос дух. Итак, человек — единственно возможный на земле деятель деяний, единственное историческое существо. Ибо деяние есть действование, содержание которого — дух. Быть историческим существом значит простирать в деяния требования духа, которым настало время»<sup>23</sup>. Поэтому «страсть творчества делает форму обязательной, активность деяния делает ее действительной»<sup>24</sup>. Творимый смысл неуничтожим — лишь существующее преходяще. «Дух не движется, он есть лишь порядок шагов — только человеческое деяние может продвинуть его вперед. Он не возвышается, он только нацелен — лишь человеческое деяние поднимает его со ступени на ступень. Он не поворачивается — лишь человеческое деяние перебрасывает руль истории и на новом курсе достигает новой структуры»<sup>25</sup>.

Обусловленность деяния, говорит Фрайер, есть его долг и его право. Долг и право совершить деяние взаимно дополняются и практически отождествляются друг с другом, так реализуется своеобразная «причинность свободы». Здесь можно различить три

<sup>23</sup> Ibid. S. 32.

<sup>24</sup> Ibid. S. 33.

<sup>25</sup> Ibid. S. 32.

условия. Во-первых, деяние телеологично, ориентировано на будущее, оправдано не порождающей, но целевой причиной. При этом нет однозначной определенности: дух содержит многообразные смысловые элементы, но избирает их себе целью именно деяние, конечный выбор совершает воля. Во-вторых, деятель должен быть сам ориентирован на будущее, он уже носит его в себе, лишь перед ним несет ответственность и ощущает долг. В-третьих, наконец, само деяние есть некое дерзание, предвосхищение: не только *через* деяние идет осуществление, но само оно, активно совершаемое, есть необходимая составляющая потока истории.

Ступени, которые проходит дух, прежде чем достигнет в своем *политическом* повороте ступени государства (но он может и не достигнуть ее), — это *вера* и *стиль*. Государство, по Фрайеру, есть высший синтез, и как таковой оно *синтезирует* в себе эти первые ступени. Каждая из них по-своему ценна, а не просто представляет собой преддверие следующей ступени. Но самое подлинное, редкостное, ценное создание человека — это именно государство. Потому и политическое деяние есть высший вид деяния. «Мир веры — это пестрый мир оформленных вещей. Он является единством благодаря отнесению всех людей к верующему человечеству. Но в себе он есть многообразие, как и сама жизнь, которой ее формы служат как инструменты, каждый — для иной ситуации. Также и мир стиля есть в известном смысле множество — множество процессов творчества и множество произведений... Стиль не может и не хочет заключить в совокупную форму множество своих абсолютных форм, где бы они, жертвуя своей абсолютностью, стали бы включенными частями.

Но именно в этом и состоит смысл государства. Благодаря политическому деянию государство смыкает живое человечество со всеми его производительными силами в единство народа; богатство форм — в единство рейха (Reich). Благодаря политическому деянию государство, пользуясь цементом власти, возводит в четко ограниченном пространстве гордую постройку из жизни и духа, первое из всех созданий духа, которое есть вполне форма и к тому же вполне действительно. Благодаря политическому деянию государство приводит дух к его цели: человечество создает себе пространство своей собственной судьбы»<sup>26</sup>.

Конечно, легко сказать, что такого рода рассуждения, — это не теория государства, а дифирамб государству. Но теоретическое содержание здесь есть, и оно — вполне серьезное. Если мы даже оставим в стороне внятные философские мотивы Фрайера, будь то уже упомянутая философия жизни, перетолкованное, по тогдашней моде, через философию жизни гегельянство<sup>27</sup> или активистская практическая философия И. Г. Фихте<sup>28</sup>, сугубо *социологический* смысл «Государства» не станет менее значительным. Прежде всего, мы видим здесь решительный разворот в сторону политики всей тематики теории дей-

<sup>26</sup> Ibid. S. 97—99.

<sup>27</sup> Кстати говоря, в конце 20-х гг. Фрайер входил в редколлегия обновленного, уже сугубо немецкого журнала «Логос», в котором были очень сильны позиции неогегельянцев.

<sup>28</sup> Возрождение интереса к Фихте в первой трети XX в. в Германии — отдельная тема. Фрайер несколько раз писал о Фихте, обращался к нему и в связи со своими штудиями Макиавелли, написал предисловие к многожды переизданному в 30-е гг. в Германии «Речам к немецкой нации». Углубленно занимался в то время философией Фихте и Гелен.

ствия и теории культуры. Мир культуры, ценностей, смыслов как собственно исторический, социальный мир — все это важнейшие темы немецкой социологии. Поскольку речь идет о человеческих действиях, социология оказывается наукой о действительности — об этом писали уже Генрих Риккерт и Макс Вебер. Но Фрайер понимает действительность иначе, чем университетское неокантианство. С одной стороны, он настаивает не просто на универсальном смысловом единстве, но именно на целостности, тотальности культуры. С другой стороны, он не только не признает, но решительно оспаривает либеральный дуализм культуры и государства. Само по себе культурное, смысловое, не пробьется к действительности, не осуществится, неоднократно повторяет Фрайер. «Лишь политическое создает те почвы, на которых, словно бы на огромных просторах родной земли, вырастает дух, и не одни только почвы, но и силы, напряжения и душевную готовность к такому росту»<sup>29</sup>. Отдельные ценности и смыслы уступают место тотальности культуры, а культура как смысловая тотальность оказывается подчиненным моментом политического существования, которое берется не в аспекте индивидуального действия, но целокупности государства. Но куда же деть логику ответственного деяния, претворяющего смыслы в действительность? Куда деть антропологическую логику рассуждений Фрайера? Конечно, человек здесь *должен* появиться, но что значит «человек»? Если мы будем представлять его себе в качестве совершен-

<sup>29</sup> *Freyer H. Das Politische als Problem der Philosophie* (1935) // Freyer H. *Herrschaft, Planung und Vernunft. Aufsätze zur politischen Soziologie* / Hrsgg. v. E. Üner. Weinheim: Acta Humaniora, VCH, 1987. S. 63.

но атомизированной единицы общения, мы не поймем Фрайера, для которого человек не отмыслим от его *общности*, *Gemeinschaft*'а. А общность оказывается здесь, — как и следовало ожидать, — *народом*. «Государство создает рейх для народа, но оно создает и народ для рейха»<sup>30</sup>. Каким образом? «Оно членит, раскладывает и укрепляет рейх так, что он вполне становится для народа объективным смыслом его жизни. Оно дерзает проделать самый длинный обходной путь, чтобы осуществить смысл культуры на земле. Но оно осуществляет его самым совершенным образом»<sup>31</sup>.

Здесь-то Фрайер и вводит понятие «вождь», распространенное в социально-политический терминологии той эпохи. Вожди, дуче, фюреры и каудильо стояли во главе крупных массовых движений. Рассуждения о вождизме делились, в принципе, на два типа. Одни авторы видели в вожде силу, которая проникает в инертную массу и приводит ее в движение. Другие подчеркивали гармонию массы и вождя, правильно выражающего то, что народ сознает. Соответственно можно было бы говорить о двух типах вождей, аристократическом и демократическом, часто, впрочем, типологически неразличимых в реальной политической практике. Фрайер интересен также и тем, что стремился теоретически совместить оба типа.

Множество ведомых инертно, говорит Фрайер. Его движет воля вождя. Оно есть материал для его формотворчества. Но ведь творчество, как мы видели выше, — это самоотдача. Можно было бы сказать,

<sup>30</sup> *Freyer H. Der Staat. S. 107.*

<sup>31</sup> *Ibidem.*

что вождь исчезает в творимом им народе, если бы он не совершал сугубо личного деяния. «Государство есть единство рейха и народа. Народ — это состоящее из людей образование, смысл которого состоит в творении царства и проживании в нем как в пространстве своей судьбы. Как и любое образование, состоящее из людей, народ есть произведение вождя. Таким образом, именно вождизм есть та сила, которая, собственно, и создает государство, делая свое человечество народом как образованием»<sup>32</sup>. Вождь проникнут тем же смыслом, что и ведомый им народ, он пробуждает в нем и оформляет своим деянием то, что еще не оформлено. Вождь делает народ народом и, во-первых, творит из него субъект творческого процесса, в котором возникает царство; во-вторых, он делает его «субъектом судьбы». Целостность рейха не становится омертвевшей структурой: народ продолжает существовать в нем как витальная сила. Народ не может быть мировым народом, рейх, империя не может быть мировым государством. «Не только мировое государство, но даже Европа как рейх есть утопия, желать которой всерьез невозможно и нельзя, дабы не предать дух Запада»<sup>33</sup>. Ландшафт Европы расчленен, но на нем почти нет так называемых «естественных границ», с самого начала ограничивающих государство извне. «Те государства, которым их единство легко было подарено природой, до самого конца несут в себе нечто от стиля; они более произрастают, нежели осуществляются посредством деяния. Напротив, западные стили с давних пор имеют в себе нечто от государства: они суть

<sup>32</sup> Ibid. S. 111.

<sup>33</sup> Ibid. S. 112.



предрешения того, каким способом создается политическая форма, и, насколько от них зависит, навешены на цель духа, на государство»<sup>34</sup>. Европейские государства отграничены друг от друга сами собой, как одна реальная вещь в пространстве ограничивает другую. Уподобляя европейские стили государству, следует помнить, что стилевую разнородность снимает внутри себя именно государство. Количество европейских государств не совпадает с количеством стилей, но раз уж нет примирительной *эстетической* инстанции для этих последних, то тем более нет примирительной *политической* инстанции для абсолютных требований пришедшего к государству духа.

Воинственность сущностно присуща европейской культуре. «В начале пути, который государство проходит к духу, стоит война, подобно тому, как война стоит в начале нашей нынешней немецкой действительности», — пишет Фрайер в 1925 г., когда Германия только-только оправлялась от войны. Но теорию не должны трогать те чувства, которые испытывают измученные люди, с облегчением выпускающие из рук оружие, продолжает он. «Те войны не на жизнь, а на смерть, в которых государство подвергается последнему испытанию, показывают обычно не только интенсивность его жизненной силы другу и врагу, они также показывают познанию структуру его сущности... К тому же следует принять во внимание, что война означает контраст по отношению ко всему нормальному и желаемому лишь для мирного гражданина, для государства же — в отношениях к подобному ему государству — она есть воздух жиз-

<sup>34</sup> Ibid. S. 113.

ни и простое усиление его сущностного бытия... Всякая политика есть угроза войной, подготовка войны, отсрочка или ускорение войны, короче говоря (перевернув известное выражение), продолжение войны иными средствами»<sup>35</sup>.

К этим рассуждениям вплотную примыкает то, что мы читаем в «Революции справа». Это сочинение надо рассматривать не *столько* как изложение определенных взглядов, сколько как активное, преобразующее воздействие на действительность — единственно подлинное ее познание, в отличие от чисто созерцательного отношения. Как мы видели, государство, по Фрайеру, есть высшее осуществление духа и может быть создано только радикальным деянием. На политическом языке, говорит Фрайер, такое деяние называется революционным. Но все прежние революции были революциями слева: вина за них ложится на выродившиеся высшие слои, совершали же их низшие слои, массы. Ныне, утверждает он, образуется «новый фронт», «революция справа», привлекающая к себе лучших людей всех слоев. Ситуация созрела для революции, ибо «все, что говорит о себе самом старый порядок, все, что он думает и знает, стало ложным»<sup>36</sup>. Как это принято со времени Руссо и Фихте (если не обращаться к более далеким истокам), современность объявляется «эпохой совершенной греховности». Однако совсем не радикален, по Фрайеру, тот, кто критикует духовные основы современного порядка. Эти «проповедники в пустыне цивилизации», честные критики современной

<sup>35</sup> Ibid. S. 141—142.

<sup>36</sup> Freyer H. Die Revolution von rechts. Jena: Diederichs, 1931. S. 13.

культуры привязаны к тому, *что* они критикуют, как театральные критики — к своему театру. Нереволюционен и тот «скромный эгоизм», как называл его Маркс, который свойствен движениям протеста. Фрайер не надеется на тех, кто желает лишь улучшения своего положения (подобно современному промышленному пролетариату). Лозунг пролетариата — социальный прогресс, ибо он отождествил свое дело с делом прогресса<sup>37</sup>. Но ведь понятие прогресса заимствовано из словаря индустриального общества<sup>38</sup>, т. е. связано с представлением, будто здесь прекращается история, идущая от одной радикальной революции к другой, и начинается мирный путь прогресса. Революционный XX век самоликвидируется. Мирное развитие возможно, потому что это общество представляет собой систему сбалансированных интересов в противовес политическому единству государства. «После того, как общество вполне стало обществом, познав и признав все силы как интересы, все интересы — как то, что поддается балансированию, все классы — как общественно необходимые, — в нем появляется нечто такое, что уже не есть ни общество, ни класс, ни интерес, то есть не может быть сбалансировано, но что обладает безмерной революционностью: народ»<sup>39</sup>. *Народ* и совершает революцию справа.

Это рассуждение Фрайера отчасти напоминает

<sup>37</sup> Ibid. S. 30.

<sup>38</sup> Когда у нас цитируют ранних социологов — Сен-Симона, Конта, Спенсера, — это понятие передают как «промышленное общество», об индустриальном говорят лишь тогда, когда цитируют теоретиков, писавших после Второй мировой войны. Это порождает небезобидную терминологическую путаницу.

<sup>39</sup> Freyer H. Die Revolution von rechts. S. 37.

ранние работы Маркса. Подлинная революция, говорят оба, удовлетворяет не частный, но всеобщий интерес. Поэтому ее носитель — тот, кто вполне отторгнут существующей системой, так что под угрозой оказываются его сущностные, антропологические характеристики. Частный интерес, определяемый особым положением в системе, не может быть удовлетворен, потому что система этого не допускает, но выход за пределы системы означает возвращение отчужденных антропологических характеристик не только обездоленному, но и привилегированному прежде классу, ограниченному в своем человеческом качестве опять-таки в силу частного, особого положения в данной системе общественных отношений. При эмансипации полностью обездоленных речь идет об эмансипации человека<sup>40</sup>. Но Фрайеру, как мы видели, пролетариат не кажется достаточно обездоленным (социалисты уже включили его в систему баланса интересов). Поэтому народ — не просто новое имя для пролетариата. Нельзя, говорит Фрайер, и крестьянство отождествлять с народом, потому что оно либо так же включено в систему индустриального общества, либо оттеснено на обочину истории. Поэтому то, что раньше звалось народом, теперь уже не отвечает новым обстоятельствам. «Народ не есть какой-нибудь класс общества; во всех местах он имеет бесконечные резервы, во всех местах он пробуждается, подобно тому, как люди могут пробудиться к новому дню. Народ, однако же, не есть и сумма нескольких классов общества,

<sup>40</sup> О «человеческой эмансипации» см. работы К. Маркса «К еврейскому вопросу» и «К критике гегелевской философии права. Введение» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. Т. 1. С. 405—406; 428—29.

якобы сведенных в единое движение своими интересами. Но это — новое образование со своей волей и своим правом. Правда, он образуется в пространстве индустриального общества, но лишь так, как новый росток образуется на старой почве»<sup>41</sup>. Внешним образом народ есть именно та масса, которая заполняет места в системе индустриального труда. Однако любое рабочее место предполагает определенное социальное положение, интерес и т. д. Занимая рабочее место, человек включается в систему индустриального общества. Так что из системы индустриального общества не вырваться, апеллируя к труду. Как же определить то большее, нежели трудовая масса, что является народом?

В XIX в. еще можно было говорить о народе как «нации». Ныне — и это представление тоже стало поверхностным. Реальности нации следует противопоставить более глубоко лежащую «идею народа». Тот, кто пробивался к этой идее, пророчески ощущал в народе глубинные силы истории, «декреты абсолюта». И поныне такие предчувствия не потеряли силы. Только нельзя считать, что этот глубинный слой — некое естественное неотчуждаемое достояние. Скорее речь может идти о внутренней потенции, так что единственное требование состоит в том, чтобы соответствовать этой потенции. Пока она не реализована, бессмысленно говорить о том, чем конкретно окажется будущее состояние: «Революционный принцип, присущий эпохе, по своей сущности не есть ни структура, ни порядок, ни построение. Но он есть чистая сила, чистый прорыв, чистый процесс. Вопрос о том, в какую форму он

<sup>41</sup> *Freyer H. Die Revolution von rechts. S. 43—44.*

впишется, достигнув цели своего движения, — этот вопрос не только ложен, но и труслив. Ибо речь идет именно о том, что новый принцип дерзает оставаться активным ничто в диалектике современности, то есть чисто ударной силой; иначе уже на следующий день он окажется встроенным и никогда не придет к своему деянию»<sup>42</sup>. Вот это направление движения Фрайер и называет «революцией справа». Ясно, что тогда и «справа» тоже мыслится нетрадиционным образом.

Почему речь идет об «активном ничто»? Дело в том, что народ понимается Фрайером как совершенная потенция — возможность, не ставшая действительностью, пока ей не придана форма. Если предположить, что эта потенция должна отлиться в совершенную форму, то надо думать, что и напор прекратится и на место одной застывшей структуры придет другая, в которой не будет места деянию<sup>43</sup>. История опять-таки должна будет завершиться, с этого места начнется только плавное изменение, ничего не меняющее в самой сути. Так это, кстати, и представлялось теоретикам утопического социализма. До известной степени эту точку зрения разделял и марксизм, хотя та же терминология там используется в противоположном смысле: речь идет о за-

<sup>42</sup> Ibid. S. 53.

<sup>43</sup> Мы должны вспомнить здесь философию культуры позднего Зиммеля, который видел в жизни активное начало, которое не может не отливаться в формы, но постоянно стремится взламывать окостеневшие формы. Характерной чертой современной ему эпохи Зиммель считал то, что напор жизни направляет не против какой-то определенной формы, но против принципа формы как такового. Однако у Зиммеля не в полной мере присутствует та интуиция Фрайера, которую мы можем назвать не просто политической, но государственно-политической.

вершении предыстории человечества и начале его подлинной истории. Фрайер же имеет в виду такую форму, которая предполагает в себе это динамичное начало. Эта форма — государство.

Совершая революцию, говорит Фрайер, народ становится обладателем мира труда и товаров, присущего индустриальному обществу. Но принцип этого общества народ отвергает, он заново организует пространство своего исторического бытия, и благодаря этому в ходе революции справа *эмансипируется государство*: «Поскольку народ пробивается через систему индустриального общества, государство, наполненное и нейтрализованное обществом, как бы выворачивается изнутри наизнанку. В бессубъектное спускается напористый, требовательный, готовый к деянию субъект. Многообразное стягивается в единство ударной силы. В безвольном внезапно возникает политическая воля. В равновесном пробуждается жизнь. В аполитичном — история»<sup>44</sup>. А в таком народе, который интегрирован в единое государство, который стал подлинным субъектом истории и т. п., совершается и подлинно *человеческая эмансипация*. Человек свободен, если он свободен в своем народе, а народ — в своем пространстве. «Человек свободен, если он включен в конкретную общую волю, которая ответственно руководит самой историей. Имеется ли в действительности такая конкретная общая воля, связующая людей и позволяющая открыться в их частном существовании историческому смыслу, — это вопрос, решить который может только реальность... Но ныне, в революции народа, государство становится мыслимой кон-

<sup>44</sup> Freyer H. Die Revolution von rechts. S. 62.

кретной реальностью; оно, на этот раз безо всякой гегелевщины, становится „осуществлением свободы“»<sup>45</sup>.

Противопоставление значимого и реального — сквозная идея Фрайера. Его концепция производила бы впечатление сугубо идеалистической, если бы не понятие деяния, претворяющего смысл в действительность. Правда, последняя может тоже выступать как логическая категория, и тогда действительность исчерпывается духом. Такое понимание Фрайер решительно оспаривает: «Объективный дух, — пишет он в статье „Политическое как проблема философии“, — сколь бы полно ни было в нем заключено все содержание исторического процесса, включает в себя по-настоящему пустые места. Но в эти прорывы может войти человек со своим индивидуальным сознанием, своей деятельной силой, своими решениями. И лишь благодаря тому, что человек заполняет эти пустые места, замыкаются круги, смысловая связь становится действенной связью, что-то действительно делается, что-то происходит; без этого имелось бы только диалектическое целое необходимым образом порождающих друг друга моментов духа»<sup>46</sup>. Подробнейшим образом эта позиция представлена в его книге «Социология как наука о действительности».

Здесь Фрайер проводит различие между социологией и теми гуманитарными дисциплинами, которые он называет «науками о логосе». «Наличие смысловых форм, говоря в общем, предметных смысловых содержаний есть... существенный

<sup>45</sup> Ibid. S. 69.

<sup>46</sup> Freyer H. Das Politische als Problem der Philosophie. S. 56.



момент в строении духовного мира... Науки, которые находят свой объект в этой стороне духовной действительности, достигают своей познавательной цели, полностью понимая содержание смысловых форм... Духовная действительность берется в них исключительно как царство предметных смысловых связей, как *логос*»<sup>47</sup>. Тогда и общественная действительность с ее противоположностями, борьбой и т. п. «становится игрой сил, в которой осуществляется смысловая связь форм культуры»<sup>48</sup>. Такой подход, однако (например, *формальная социология Зиммеля*), лишает общественную действительность самого характера *действительности*. «Общественные формы никогда не суть абсолютные, оторванные от человека формы. Они всегда суть становящиеся формы. Даже если они длятся тысячелетиями, они пребывают в состоянии становления: они все время восстают из жизни человека, как фонтаны из текущей массы»<sup>49</sup>. Отсюда следует и другой важный признак общественных образований: они всегда суть в некотором конкретном времени, даже якобы вневременные категории общежития несут на себе печать конкретной исторической ситуации. Наконец, есть еще третий признак, синтезирующий два первых: он соединяет в себе оба определения, то есть то, что общественные образования неразрывно связаны с человеком и неразрывно связаны со временем, в третье: что они суть экзистенциальная ситуация человека<sup>50</sup>.

Социология, конечно, не единственная наука о

<sup>47</sup> Freyer H. Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft. S. 21—22.

<sup>48</sup> Ibid. S. 35.

<sup>49</sup> Ibid. S. 82.

<sup>50</sup> Ibid. S. 87.

действительности. Воспроизводя идущее еще с античности деление наук на физику, логику и этику, Фрайер вводит членение на науки о природе, науки о логосе и науки о действительности. Последние имеют дело с теми осмысленными процессами, к которым экзистенциально принадлежит сам человек; таковы, следовательно, психология, история и социология. Социология, таким образом, оказывается в ряду *этических* наук. Поэтому ни о какой «свободе от ценностей» (в смысле М. Вебера или позитивизма) не может быть и речи. Такое понимание социологии развилось в Германии не сразу, говорит Фрайер (он, в частности, сочувственно указывает на построения Л. фон Штейна и Маркса). Вообще же следует ставить вопрос о самой социологии как общественном, историческом феномене. Она возникает как наука об обществе, когда это последнее отделяется от государства и на место очевидного и надежного порядка приходит ненадежное, непросчитываемое, само для себя проблематичное общество. Там, где общественная действительность соединена прочными политическими узами, нет ни права, ни стремления выделять теоретическую политику и противопоставлять ей какое-то особое учение об обществе. «И все-таки истинно по-прежнему то, что социология специфически связана с эпохой буржуазных революций, с разложением абсолютистских государств и возникновением развитых капиталистических обществ в Европе. Здесь возникает ее объект: „общество“. Здесь возникает ее проблема: отношение государства и общества как двух гетерогенных, ставших самозаконными и резко расходящимися принципов образования социальной жизни. Здесь возникает ее задача: исследовать условия новой позитивной связи между

ними»<sup>51</sup>. Разумеется, такое исследование представляет собой значительную проблему. Наука должна пользоваться понятиями, но понятия, как это было хорошо известно в Германии еще с конца XIX в., могут быть образованы совершенно по-разному, в зависимости от того, идет ли речь о естественных или гуманитарных науках. В неокантианской методологии, обоснованной В. Виндельбандом и Г. Риккертом, а затем, в приложении к социологии, развитой М. Вебером, генерализующий метод (обобщение, отсечение всего индивидуального) противопоставлялся индивидуализирующему, историческому. Такая социологическая работа строится на убеждении в том, что сами по себе, вне нашего исследовательского интереса, все стороны реальности равнозначны. Фрайер же предлагает концепцию *структурных понятий*, которые, с одной стороны, могут быть генерализованы, а с другой — поддаются конкретно-му историческому наполнению, ухватывают самое действительность. В общественной действительности, утверждает Фрайер, есть «трудно формулируемый, но, если уж он увиден однажды, неопровержимый феномен относительно „чистых“ и относительно „нечистых“, т. е. скрытых, замутненных или помещенных друг над другом, структур»<sup>52</sup>. Иными словами, определенные структуры конкретны и просты, ибо содержат «полный закон образования характерной жизненной действительности. Такими основными структурами являются, например, классовое общество, сословное общество, общность (Gemeinschaft). Это означает: возможно, что историче-

<sup>51</sup> Ibid. S. 169.

<sup>52</sup> Ibid. S. 224.

ски действительное социальное тело в определенную эпоху своего развития построено совершенно как классовое общество, чисто как сословное общество, вполне как общность»<sup>53</sup>. Такие понятия Фрайер отличает от абстрактных понятий, которые лишь в комбинациях друг с другом могут воспроизвести конструкцию конкретного социального порядка, например, понятия легитимного порядка (которое является центральным для Вебера), обобществления (центральное для Зиммеля) и т. п. Но чистые основные структуры не только находятся в некотором реально-диалектическом следовании по отношению друг к другу. Они еще существуют как слои во всякой исторической действительности, и в этом смысле они неуничтожимы. Например, даже «чистое» классовое общество имеет также и характер государства, оно к тому же содержит в себе «социальный мотив» общности (семью) и какие-то сословные образования.

«Индивидуалистическое; механистическое и гармонистическое (т. е. подчеркивающее социальную гармонию. — А. Ф.) понятие общества, — пишет Фрайер, — само есть, конечно, первостепенный духовно-исторический феномен. Оно возникло как самосознание и как чистая совесть становящегося гражданского общества... Либерализм аргументировал с его помощью в течение всего XIX века и продолжает аргументировать поныне»<sup>54</sup>. Таким образом, социология, использующая это понятие, оказывается, собственно, идеологией, неподлинным самосознанием, ибо не учитывает ни самой реальности, ни исторической тенденции. Дело в том, что

<sup>53</sup> Ibidem.

<sup>54</sup> Ibid. S. 236.

либеральная социология видит везде только *договор*, и, хотя в обществе есть такие сферы, которые только на договоре и основаны, делать его основной формулой строения общества нельзя, ибо тем самым из поля зрения пропадает феномен *господства*. Если все основано на формальном равном договоре и общество гармонизировано, то нет динамического напряжения, нет основания исторического движения. На господстве же основано принципиально новое строение общества, «социальная форма, которая есть целое и должна пониматься как структура, состоящая, правда, из гетерогенных частных групп, какковые взаимно скрепляются отношениями господства. Каждое такое строение несет в себе зародыш непрерывных изменений, подлинную диалектику. В нем совершаются движения снизу вверх и сверху вниз»<sup>55</sup>. Обществу как динамическому образованию противостоит общность, *Gemeinschaft*, понимаемая как квази-природный и потому вне-историчный феномен. «Дети подрастают, а старики умирают. Но *Gemeinschaft* длится сквозь века как бессмертное существо, прочно ограниченное и вполне сознающее свое единство, так что, в сущности, никогда нет сомнений, кто сюда относится, а кто — нет»<sup>56</sup>. Длительность не есть история. История рождается из деяний и социального напряжения. Но *Gemeinschaft* пребывает в потоке истории, не становясь изменчивым, историчным. Можно различать те эпохи, когда общность выступает как основная структурная категория, и те, когда она есть лишь «слой», базис совокупного устройства общественных образований. Именно такой *общ-*

<sup>55</sup> Ibid. S. 238—239.

<sup>56</sup> Ibid. S. 243.

ностной основой в современную эпоху является в Европе *народ*<sup>57</sup>. Непосредственно пути от общности к обществу, как мы видим, быть не может. Внеисторичное не может перейти в инородное ему состояние. Возможно, однако, столкновение двух общностей, одна из которых захватывает власть над другой. Это, по Фрайеру, и есть «прафеномен» возникновения общества, которое с самого начала состоит из гетерогенных частей. В общности есть совокупное «мы», мир единой судьбы всех членов *Gemeinschaft*'а. В обществе есть только неопределенно-личное «man» (в хайдеггеровском смысле). Господство одной части общества над другой может быть случайным событием (скажем, захват пленных на войне) или оформляться в систему господства.

Такое образование не может быть вечно статичным. Конечно, с каждой из частей общества (сословий) сопряжены определенные функции, необходимые целому, причем каждое сословие сплавлено со своими общественными задачами, так что выполнение их для него органично и обладает дисциплинирующей силой. Однако одновременно общественным образованиям присуще «напряжение господства»<sup>58</sup>: особые права и привилегии господствующего сословия надо защищать. Сословные общества постоянно сотрясает борьба, — но только за изменение границ сословий, за перераспределение привилегий, а не против самого сословного принципа. Ситуация в корне меняется тогда, когда на арену общественной жизни выходят классы. При этом «одна часть общества идентифицирует себя с целым. Ее социальное

<sup>57</sup> См.: Ibid. S. 252.

<sup>58</sup> Ibid. S. 261.

сознание состоит уже не в том, чтобы знать себя членом целого, но в том, чтобы знать себя носителем будущего и на основе этого сознания желать для себя завоевания безграничной общественной власти»<sup>59</sup>. Конечно, сословная структура должна быть помехой образованию классов. В наиболее чистом виде осуществляет в себе классовый принцип радикально внесословный пролетариат. Сословная структура образуется «сверху вниз» — поначалу сословиями в подлинном смысле являются лишь господствующие группы, и лишь постепенно сословная организация пронизывает все общество. Классы же образуются «снизу вверх»: бюргерство становится буржуазией, поскольку стоящий ниже всего пролетариат не желает быть ничем, кроме как классом, т. е. противопоставляет себя всему обществу и претендует на всецелость. Потому и динамика классового общества иная, нежели у сословного: борьба идет не за улучшение положения низших слоев, но за преобразование всей структуры общества. Именно поэтому «конкретно мыслящая» социология (а к ней Фрайер относит, в частности, учение Маркса) никогда не считала классовый порядок окончательным устройством, она рассматривала его как промежуточную стадию борьбы и была в корне антилиберальна.

Работая с понятийной противоположностью «государство / общество», такая социология предлагала несколько принципиальных теоретических решений. Одно из них — марксистское: пролетариат, обретая политическое господство, выступает представителем всего общества и совершает тем самым первый шаг к своему отмиранию. Другое решение предлагают

<sup>59</sup> Ibid. S. 278.

«ревизионистский» социализм, либеральное учение о «зрелом» индустриальном обществе и концепция профессиональных сословий. Это решение состоит в том, чтобы акцентировать уже присущие буржуазному обществу тенденции к смягчению противоположностей и переводу общества в иное состояние, основу которого больше не будет составлять классовый принцип. Сюда относится и образование средних слоев, и вращение сильных частей пролетариата в социально-политически активизирующееся демократическое государство, и новое членение народа в рамках «зрелого капитализма», переходящего из «хаотически-индивидуалистической» в «планово-хозяйственную» фазу. Новый порядок, который возникает таким образом, тоже не есть уже общество, ибо не основан на классовом господстве.

Сам же Фрайер тяготеет к иному, третьему решению, так называемому немецкому «государственному социализму», восходящему к Фихте, Гегелю и Шеллингу и обретшему своих приверженцев в самых разных течениях — от революционного социализма до национального консерватизма. Для этого третьего решения основополагающими являются два момента в понимании государства. Во-первых, государство рассматривается как та сила, которая должна отвоевать у распадающегося на классовые противоположности буржуазного общества некую новую структуру. Во-вторых, государство рассматривается также и как принцип самой этой структуры. «Но государство в государственно-социалистических теориях есть нечто большее, чем спасающая сила, которая извне вмешивается в кризис буржуазного общества и исцеляет его. Оно означает одновременно и новый порядок, и, как минимум, схему нового по-



рядка, который последует за классовым обществом. Тем самым в социологию вводится весьма наполненное понятие государства, взращенное на гегелевской философии права и фихтевской идее государства»<sup>60</sup>. Предполагается, что классы не будут организующим принципом нового порядка. Исчезнет и феномен господства, ибо распределение авторитета будет касаться лишь деловых компетенций. Возникнет рационально оформленный мир труда, воспроизводящий примерно — только в крупном масштабе — ту же схему разделения труда, на которой основано взаимодействие в небольшой группе равноправных товарищей. «Царство свободы» конкретно предстает как такой мир труда, «в котором труд каждого отдельного человека есть выражение его личности, а общий результат — выражение связующего всех духовного содержания»<sup>61</sup>, о чем первым написал уже Сен-Симон.

Какой же смысл имеет это предполагаемое будущее состояние для социологии как *науки о действительности*? Дело в том, говорит Фрайер, что понимание действительности неполно и даже ложно, если оно не включает в себя тенденции будущего развития. Но отношение к этим тенденциям может быть разным. Что касается марксизма, то он, согласно Фрайеру, хочет быть «фактически чистой наукой», анализом имманентной динамики капиталистического порядка. Марксизм разделяет с Гегелем критическое отношение к «поучениям» о том, каким должен быть мир, критику «долженствования» как низшей ступени нравственности. Кроме почти натуралисти-

<sup>60</sup> Ibid. S. 293.

<sup>61</sup> Ibid. S. 295.

ческого объективизма, марксизму Фрайер инкриминирует преимущественный интерес к международной экономике (в отличие от народного хозяйства) и недостаточный учет современных изменений в положении пролетариата. В то же время для государственного социализма, более ориентированного на Фихте, чем на Гегеля, прогресс, ведущий от классового общества к государственному порядку, есть изначально нравственное требование. Оно, говоря более точно, состоит в том, чтобы привести в порядок извращенные в классовом обществе (и, по меньшей мере, искаженные в других обществах) законы «подлинного хозяйства» и свободы<sup>62</sup>. Разумеется, Фрайер, столь многим обязанный Гегелю и марксизму, не мог не прийти к тому, что противопоставлять эти три решения как истинный и неистинные подходы все-таки нельзя. Общественная реальность в ее тотальности может быть постигнута только через совокупность всех трех способов ее анализа. Каждый же из них по отдельности непременно сужает поле зрения, делает взгляд избирательным, потому что с теоретическим анализом сопряжена *воля* к познанию, неотделимая от представления о должном. Желание будущего состояния изоцряет взгляд для видения определенных связей фактов.

Конечно, есть очевидная разница между тем, становится ли идея как бы зрячим оком воли, нацеленной на преобразование реальности, или она выступает как руководящая идея при теоретическом собирании и анализе фактов. В первом случае мы имеем дело с политикой, во втором — с теорией. Мы видели выше, что социология принадлежит к наукам эти-

<sup>62</sup> См.: Ibid. S. 296.

ческим, но она не справилась бы с хаосом эмпирической действительности, не переработала его в своих понятиях, если бы не определялась волевым импульсом общественного преобразования. «Только желание, направленное на общество, делает возможным социологическое видение»<sup>63</sup>. Таким образом, политика есть реализация воли, а наука о действительности тождественна *политической этике*. Социологии, справедливо заключает Э. Инер, выпадает задача сформулировать этические принципы эпохи, соединяя в научном познании индивидуальную и коллективную этику<sup>64</sup>. Истинное же воление, без которого не может быть подлинной социологии, направлено, как мы уже видели, на государство и народ. Социология, если воспользоваться языком более современным, — это род *социальной технологии*. Но не только это. Как социальная технология социология решает отдельные, локальные вопросы наиболее эффективного применения *средств*. Для Фрайера она представляет собой дисциплину целеполагания. Она указывает способы перестроения общественного организма в направлении того единства, которым и должен был бы стать народ в новом немецком рейхе. И в этой связи исследование *планирования* (социально-технологический момент) неотделимо от исследований *господства* (политический момент).

В первые годы нацизма эти рассуждения Фрайера получают радикальное продолжение. Господство основано на неравенстве, говорит он, и это неравенство признается подвластными. Значит, оно исходит

<sup>63</sup> Ibid. S. 305.

<sup>64</sup> См.: Üner E. Über Hans Freyers Staatslehre und politische Ethik // Annali di Sociologia / Soziologisches Jahrbuch. 1989. Vol. 5. S. 196.

не от одной-единственной воли, распространяющей свое действие на все части социального тела, но, напротив, все тело пронизано этой волей, она исходит из всех его клеточек в центр, в середину; каждый отдельный человек желает этого господства над собой; господин способен пробуждать эту волю — все равно, выражена ли она эксплицитно или только молчаливо предполагается. В народе как политическом единстве «*воля к рейху*» владеет всеми. Политическая воля, нацеленная на преобразования, *планирует* направление и принципы движения, господство проникает в те глубинные слои, где решается, *на что люди готовы*. «Не планирующие господствуют, но господствующие планируют»<sup>65</sup>, именно в этом состоит функция господства для планирования. Возможны разные планы: «С комфортом домовито устраиваться в данном пространстве, покуда соседу нравится оставлять нам это пространство, этот план — как план — столь же возможен, как такое формирование жизненного пространства народа, чтобы он мог стать носителем рейха»<sup>66</sup> А какой из планов лучше — это вопрос не рациональный, не технический. Здесь все решает воля народа, его готовность к действию или резиньяция. Политический смысл этого высказывания для 1933 г. очевиден — можно сказать, зловеще очевиден. А вот теоретическое содержание неоднозначно. Народ, как видим, может решиться и на то, чтобы отказаться от рейха, и комфортно и мирно устроить свою жизнь. Беда только в соседи, ибо тот, кто объявил о своем ми-

<sup>65</sup> Freyer H. Herrschaft und Planung // Freyer H. Herrschaft, Planung und Vernunft. Op. cit. S. 31.

<sup>66</sup> Ibid. S. 41.

ролюбии, еще не может непременно рассчитывать на взаимность других государств и народов. А народ, переставший имперски самоопределяться относительно иных народов, — уже неполитический народ. Такая опасность вполне реальна: «Постоянно существует опасность, что народ откажется от себя самого как политического существа»<sup>67</sup>. Задача пробуждать в нем политическую волю есть задача политической этики, в качестве которой и выступает социология, видящая в действительности мощную тенденцию к тому, чтобы народ был политическим народом, чтобы реальностью стали рейх, господство, государство. Социология, таким образом, сознательно становится на службу *вождю*.

## III

Не только для историка, но и для исследователя современности концепция Фрайера представляет значительный интерес. Дело не в обосновании понятийного аппарата теоретической социологии и не в изучении индустриального общества. Некоторые темы Фрайера, безусловно, не только могут, но и должны быть подхвачены, и практически у каждого крупного социолога, испытавшего влияние философской антропологии, можно найти мотивы, роднящие его с Фрайером. Однако в связи с публикацией «Революции справа» следует сказать и о другом. Некоторые ходячие представления относительно природы господствующих идеологий могут быть скорректированы при изучении немецких радикальных консерваторов. Мы видим, что «левая» и «правая» критика

<sup>67</sup> Ibid. S. 42.

капитализма и либерализма часто сходны до неразличимости. Современный интерес «левых» к «правым», особенно заметный, конечно, по отношению к фигуре Карла Шмитта, был бы не менее оправдан и по отношению к Фрайеру. Критика капитализма, критика буржуазного гражданского общества, критика модерна и рационального взаимовыгодного обмена, — все это общие аргументативные фигуры социального радикализма. Только в случае левых предполагалось, что общество должно быть усилено, эмансипировано от государства. Именно безграничное общество позволяет развернуть основные антропологические характеристики человека: человек как человек в обществе как обществе, беспредельном, не привязанном ни к истории, ни к территории, ни к языку. Социальный радикализм правых связан с понятием государства. Это попытка вернуть понятию государства то значение, какое оно имело на заре европейской мысли, будучи не отдельным от общества аппаратом управления и подавления, но высшим морально-политическим единством, в котором только и может осуществиться человек сообразно своей природе. Эта идея морально-политического единства граждан, живущих на ограниченной территории, сознающих общность своей судьбы, воспитанных в одной традиции, — идея политического народа — обладает большой притягательной силой и несколько раз оказывалась доминирующей среди других идейных течений. История XX в. показывает, что переход от левой идеи к правой не составляет принципиальной проблемы. Стоит лишь связать критику либерализма и гражданского общества не с перспективами «всемирного братства», а с культурной традицией, историей и строительством социальной жизни на

ограниченной территории, как основные аргументы радикалов легко модифицируются. Уже во времена веймарской Германии связь так понятого национализма с так понятым радикализмом привела к появлению феномена национал-большевизма, о котором нам, конечно, следовало бы знать больше. Изучение нашей отечественной истории тех лет тоже могло бы показать, как интернационалистско-универсалистская аргументация уступает место категориям и суждениям совсем иного рода, и понятия «народ» и «государство» начинают играть ключевую роль в политическом лексиконе. Изучение нашей отечественной консервативной революции — это важная задача, и знакомство с сочинениями Фрайера может оказать в этом существенную помощь. Актуальность для нашей страны радикального консерватизма, кажется, не приходится доказывать. Однако, пожалуй, важно всегда помнить о двух вещах:

1. консервативная революция — не заблуждение, не злоумышление, не поверхностное политиканство, не легкомыслие; это серьезный вызов модернистам и большой интеллектуальный ресурс;
2. консервативная революция — это не упражнение ума, которое представляет интерес только для другого ума и может быть принято или опровергнуто на уровне одних только аргументов. Консервативная революция начинала с огромных надежд и кончила ужасными катастрофами, после которых уже не смогла оправиться. Просто продолжить ее не смог и не сможет никто из тех, кому до сих пор симпатичны ее интенции. Но это не мешает ей быть одним из важных мотивационных ресурсов.

Старое, но грозное оружие, — скажет симпатизирующий радикалам идеолог.

Грозное, но старое, — возразит ему либеральный критик.

Мы не рискуем утверждать правоту любого из них. Степень воздействия интеллектуалов на социальные и политические процессы сильно уменьшилась. Возможно, это и к лучшему. Иногда полезнее бывает описать опыт революции, чем его проделывать.

*Февраль 2008 г.*



**Ханс Фрайер**

## **РЕВОЛЮЦИЯ СПРАВА**

**Редактор** *Б. М. Скуратов*  
**Оформление обложки** *А. Кулагин*  
**Макет и верстка** *А. В. Иванченко*  
**Корректор** *Е. В. Феоктистова*

**Издательская группа «Праксис»**  
**ИД № 02945 от 03.10.2000**

**Подписано в печать 26.06.2008. Формат 84 × 108/32**  
**Бумага офсетная. Печать офсетная**  
**Тираж 2000 экз. Заказ № 3362**

**ООО «Издательская и консалтинговая группа „ПРАКСИС“»**  
**127486, Москва, Коровинское шоссе, д. 9, корп. 2**  
**<http://www.praxis.su>**  
**<http://www.politizdat.ru>**  
**e-mail: [praxis@hotbox.ru](mailto:praxis@hotbox.ru)**

**Отпечатано с готовых диапозитивов**  
**в ОАО «Типография „Новости“»**  
**105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46**

**ISBN 978-5-901574-71-3**



Заблуждением и даже подлинным наследием XIX века в наших умах будет, если мы станем мыслить все революции как расколы и движения на основе общественных интересов и не сможем представить себе другого носителя революции, нежели угнетенный общественный класс. Это было справедливо для прошлого века. Тогда история вторглась в индустриальное общество. Здесь она обрела революционную диалектику, которая продолжалась дальше. За революцией третьего сословия вспыхнула революция пролетариата.

Но эти революции слева исторически исчерпаны. Их носители встроены в индустриальное общество. Их оставшиеся проблемы перетолкованы в оставшиеся проблемы социального прогресса. Их мотивы позитивно использованы для оформления современного государства, его социальной политики, парламентаризма, так называемой демократии.

После того как общество вполне стало обществом, познав и признав все силы как интересы, все интересы — как взаимно уравниваемые, все классы — как общественно необходимые, — в нем выступает то, что уже не является ни обществом, ни классом, ни интересом, т. е. чем-то уравнивающим, но, напротив, глубоко революционным: народ. Именно крушение революции слева открывает путь революции справа.

В то время как вчерашние революционеры стареют, пристально смотря в старом направлении и чтут новые святыни, святыни социального прогресса, на полях сражений буржуазного общества формируется революция справа.

**Ханс Фрайер**